КУРС ЛЕКЦИЙ

Б. Ю. Норман



ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ПРАГМАТИКА

на материале русского и других славянских языков









Б. Ю. Норман

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ПРАГМАТИКА

на материале русского и других славянских языков

Курс лекций

МИНСК
БГУ
2009

УДК 81’22(075.8)
ББК 81.2я73
Н83

*Печатается по решению
Редакционно-издательского совета
Белорусского государственного университета*

Р е ц е н з е н т
доктор филологических наук,
профессор *А. П. Клименко*

Норман, Б. Ю.
Н83 Лингвистическая прагматика (на материале русского и других славянских языков) : курс лекций / Б. Ю. Норман. – Минск, 2009. – 183 с.
ISBN 978-985-518-267-3.

Первое в Беларуси пособие по лингвистической прагматике – одному из наиболее перспективных направлений современного языкознания. Прагматика изучает функционирование языковых знаков в речи. В 10 лекциях рассказывается, как говорящий с помощью языковых средств регулирует свои отношения с собеседником. Основным источником материала послужили тексты русской художественной литературы от Герцена до Акунина, демонстрирующие все многообразие отношений в человеческом обществе. В сопоставительном плане в лекциях представлен также материал других славянских языков: белорусского, болгарского, польского, сербского, чешского.
Для студентов, аспирантов и преподавателей филологического факультета БГУ.

УДК 81’22(075.8)
ББК 81.2я73

ISBN 978-985-518-267-3

ПРЕДИСЛОВИЕ

Лингвистическая прагматика – одно из наиболее перспективных направлений современного языкознания. Как составная часть она входит в теорию языка и изучается в курсе общего языкознания. Но в данном случае пособие ставит своей целью показать, как эта теоретическая дисциплина может быть применена к фактам русской речи, иногда привычным, иногда неожиданным для читателя. Основным источником материала послужили тексты русской художественной литературы от Герцена до Акунина, потому что они, с одной стороны, документированы (письменно зафиксированы), а с другой стороны, прагматически насыщенны: они отражают все многообразие отношений в человеческом обществе.

В сопоставительном плане в лекциях привлекается также материал других славянских языков: белорусского, болгарского, польского, сербского, чешского. Правда, эти сопоставления фрагментарны, они представляют собой скорее намек на возможность сопоставительно-прагматического исследования славянских языков, чем само такое исследование. Но все же думается, что книга будет полезна и тем студентам, которые изучают в качестве основной или дополнительной специальности современные славянские языки.

Пособие обобщает лекционный опыт автора. Соответствующий курс он читал в Академии Подляской (Седльце, Польша, 1997 г.), в Витебском государственном университете (2001 г.), в Хельсинкском университете (Финляндия, 2008 г.).

Книга состоит из 10 лекционных тем, каждая из которых соответствует по объему примерно четырем академическим часам,

т. е. двум обычным университетским занятиям. В тексте самих лекций точных библиографических ссылок не приводится, зато в конце книги дается список литературы как ко всему курсу, так и к отдельным лекциям.

Автор выражает благодарность своим молодым коллегам кандидатам филологических наук О. С. Горицкой и Н. В. Супрунчуку, принимавшим участие в обсуждении отдельных частей пособия, а также сотрудникам Управления редакционно-издательской работы БГУ за помощь при подготовке рукописи к печати.

ЛЕКЦИЯ 1

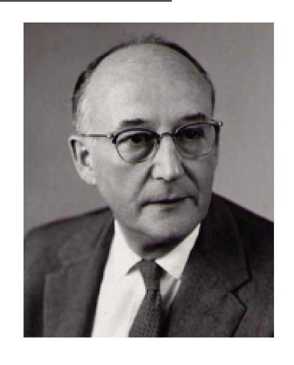
ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ПРАГМАТИКА: ПРОБЛЕМЫ И ПРИНЦИПЫ. МЕСТО ПРАГМАТИКИ В ПЛАНЕ СОДЕРЖАНИЯ ЯЗЫКОВОГО ЗНАКА

Лингвистическая прагматика – одно из сравнительно новых направлений в языкознании. Оно аккумулировало в себе многие достижения риторики, стилистики, социо- и психолингвистики. Это направление тесно связано с теорией речевых актов и разработками в области коммуникативных технологий. Лингвопрагматика представляет особый интерес для тех, кто занимается проблемами коммуникативной эффективности, public relations и рекламы (в самом широком смысле этого слова), речевого этикета, теории и практики перевода и т. п. Лингвопрагматика изучает употребление языка с учетом возрастных, половых, общественно-статусных и профессиональных особенностей общающихся, а также конкретных условий и целей речевого акта.

Само понятие и термин *прагматика* (от греч. корня со значением ‘действие’, ‘дело’, ‘польза’) были введены американским ученым Чарльзом Моррисом (Ch. Morris) в конце 30-х годов XX века. Теория знака у Ч. Морриса складывалась из трех частей: **семантики**, т. е. отношения знаков к объектам, **синтактики,** т. е. отношений между знаками, и **прагматики**, т. е. отношения между знаками и говорящим (схема 1).

Можно показать на простых примерах, что эти аспекты значения слова автономны, независимы друг от друга.

Семантика. Как называется по-русски толстая тетрадь для ежедневной (или просто регулярной) записи сведений? Можно сказать – *журнал*, а можно – *дневник*. Но это разные предметы, «вписывающиеся» в разный реальный контекст, и этим определяется различие в значениях



Чарльз Моррис

этих слов. Ученик ведет дневник, записывая туда задания; учитель – журнал, записывая туда темы уроков и ставя оценки. Девушка делает записи в дневнике, а капитан – в корабельном журнале... Различия в предметах определяют различия в названиях.

Синтактика. Как называется по-русски транспортное средство, перевозящее грузы? В зависимости от того, о каком транспорте идет речь, мы используем разные прилагательные. О поезде скажем – *товарный*, о самолете – *транспортный*, об автомобиле – *грузовой*. Выбор конкретного определения диктуется здесь отношениями между словами, их комбинаторикой (сочетаемостью), хотя все три слова обозначают одно и то же – ‘перевозящий грузы’.

Прагматика. Как называется по-русски очень подвижный и непослушный ребенок? Можно сказать (про одного и того же мальчика): *непоседа, егоза, пострел, сорванец, вождь краснокожих, сорвиголова*, и даже описательно, словосочетанием, – *управы на него нет*... При этом мы чувствуем, как в названиях последовательно нарастает отрицательная оценка, которую говорящий дает поведению этого ребенка. Получается, что выбор конкретного слова зависит здесь не столько от самого объекта, сколько от нашего отношения к нему.

Надо сказать, что позже схему Ч. Морриса пытались пересмотреть и дополнить. В частности, отношения между знаками складываются не только в плане синтагматики, но и в плане парадигматики, поэтому наряду с синтактикой есть основания выделять аспект, определяющий положение знака в системе, и это и есть смысл знака. Так поступает, например, немецкий философ языка Георг Клаус (G. Klaus, 1967) (схема 2).

Отношение к другим знакам здесь – это синтактика, отношение к людям – прагматика, отношение к значению (смыслу) – семантика. Г. Клаус различает отношение знака к самому объекту (референту) – это **сигматика –** и отношение к понятию о нем (отражению знака в нашем сознании) – это семантика.

В дальнейшем и эта схема была усовершенствована в соответствии с основополагающей оппозицией «язык – речь». Получилось, что содержательные компоненты слова (типичного знака) организуются по двум осям, как бы по двум водоразделам: «отношения, не зависящие от употребления, – отношения, зависящие от употребления» и «внутрилингвистические отношения – внелингвистические отношения». Итак, схема 2 приобрела новый вид (схема 3).

Схему следует читать так: «Прагматический и синтаксический аспекты касаются использования, употребления слова. В то же время семантический и сигматический аспекты характеризуют слово безотносительно к его непосредственному использованию. Прагматика и сигматика характеризуют слово со стороны его внелингвистических связей, а семантика и синтактика – со стороны его внутрилингвистических особенностей» (А. Е. Супрун, 1975).

Для нас, однако, важно сейчас то, что прагматика и в этом случае четко выделяется в качестве одной из составляющих содержания знака.



Сегодня прагматика представляет собой часть общей семиотики и даже философии, поэтому мы будем говорить далее конкретно о **лингвистической прагматике**, или одним словом – лингвопрагматике. Эта сфера знаний сформировалась в связи с появлением в 1960–70-х годах теории речевых актов; а у ее истоков стояли логики – англичанин Джон Остин (J. Austin, 1986), американец Джон Серль (J. Searl, 1986) и др. (Нередко как равнозначный по отношению к термину «лингвопрагматика» употребляют термин «прагмалингвистика».)

Чем же на практике занимается лингвопрагматика? Коротко говоря, это **изучение поведения языковых знаков в реальных процессах коммуникации**. Вот максимально общее определение по «Лингвистическому энциклопедическому словарю» (1990): «Прагматика – область исследований в семиотике и языкознании, в которой изучается функционирование языковых знаков в речи».

Если же говорить подробнее, то в сферу этой дисциплины входит анализ явных и скрытых целей высказывания, внутренней установки говорящего и готовности слушающего «пойти навстречу» в достижении искомого смысла; изучение типов коммуникативного поведения: речевой стратегии и тактики, правил диалога, направленных на достижение эффективности общения, использование так называемых «непрямых» речевых актов и разнообразных приемов языковой игры. «Прагматика касается как интерпретации высказываний, так и выбора их формы в конкретных условиях» (В. Г. Гак, 2009). В этом определении заключены как бы две точки зрения на прагматический аспект: позиция говорящего (выбор формы) и позиция слушающего (интерпретация высказывания).

Чрезвычайно важным условием для выделения прагматического аспекта значения является понимание того места, которое отводит себе говорящий в языковом мире. Центром этого мира является «я», а локальными и временными координатами, так сказать точками отсчета в организации действительности, – «здесь» и «сейчас». Этот **эгоцентризм говорящего** находит многообразное проявление в речи, и все соответствующие языковые единицы и конструкции объединяются под знаменем прагматики.

Под углом зрения прагматики можно рассматривать любой речевой акт, например благодарность, совет, угрозу и т. д. Немецкая исследовательница Рената Ратмайр написала на основе русского материала книгу «Прагматика извинения», и такая постановка вопроса оказывается чрезвычайно интересной. Мы начинаем понимать не только **зачем** говорящий приносит свои извинения (то ли он хочет загладить свою вину, то ли поправить свою репутацию в глазах собеседника, или продемонстрировать свою

коммуникативно более низкую позицию, или закрепить в памяти, что то, что он сделал, плохо, и т. д.). Но, обращаясь к прагматическому аспекту, мы узнаем к тому же, **как именно и почему именно так** он это сделал.

Дело в том, что для выражения извинения в русском языке существует множество форм, например: *Виноват*; *Прости(те)*; *Извини(те)*; *Пардон! Признаю себя виноватым* (или *виновным* – в другом контексте); *Приношу свои извинения*; *Мне очень жаль*; *Как неудобно (нехорошо) получилось*; *Видит бог, я не хотел*; *Я нечаянно*; *Я больше не буду*; *А ничего нельзя исправить*? и т. п. Даже вопросы типа *Ты не спишь?* или *Я вас не оторвал?*, просьбы *Не сердись!* или *Пойми меня* можно рассматривать как формы извинения. И, конечно, для каждой из этих фраз нужны соответствующие условия, свой контекст. Маленький мальчик, разбив чашку, скажет: «Я больше не буду», а в устах подсудимого на уголовном процессе естественно будет звучать фраза *Признаю себя виновным*. Смешно было бы, если бы подсудимый сказал: «Я больше не буду!»

Можно вспомнить здесь один анекдот.

Наутро после свадьбы муж обращается к жене:
– Ты ж говорила, что ты девственница!
– Кто, я?
– А кто же еще!
– Когда?
– Ну когда мы познакомились.
– Боже, как нехорошо получилось!!

Анекдот, конечно, отражает определенные культурные традиции, принятые в данном обществе (можно сказать, сегодня уже довольно патриархальные). Но соль его в том, что выражение *Как нехорошо получилось!* подходит для извинения во многих случаях, **только не для этой ситуации**. Тут ожидалось бы, наверное, шумное раскаяние молодой жены, попытки оправдания, слезы, мольбы о прощении и т. п.

С другой стороны, даже такая стандартная форма извинения, как русское «*извините»*, может использоваться с совсем другим, «не извинительным» значением. И это можно продемонстрировать на примере старого одесского анекдота, не теряющего, впрочем, своей лингвистической ценности.

Рабинович оскорбил своего соседа. Тот обратился в суд. Суд вынес решение: Рабинович должен публично извиниться и заявить о том, что его сосед Иванов – хороший человек. Рабинович вышел на площадь, держа в руках бумажку с решением суда, посмотрел в нее и громко сказал:
– Иванов – хороший человек?? Ну из-ви-ни-ите!!

Действительно, «*извините»*, произнесенное с определенной интонацией, означает по-русски ироническую форму несогласия. Кстати, Р. Рат-

майр приводит пример из немецкой практики: когда девушка на улице задела зонтиком молодого человека, а тот отреагировал словом Entschuldigung! (букв. ‘извините’) с интонацией явного упрека или даже угрозы...

Таким образом, «извинительная» интенция может быть выражена по-разному, в том числе словами, которые, казалось бы, для этого не предназначены (*Я больше не буду*; *Не сердись!*; *О черт!* и т. п.). С другой стороны, то, что формально выглядит как извинение, по сути может быть совсем другим речевым актом, иметь другую цель.

Прагматический аспект значения отвечает за формирование отношений в микроколлективе. К примеру, если человек слышит признание «Я тебя люблю», то, теоретически говоря, он может ответить по-разному. Скажем, может последовать ответ: «Да? Как интересно! Не ожидал…», или «Очень приятно. Спасибо», или «Любовь – это чувство, возвышающее человека». Но на практике выбор жестко ограничен. Единственная ожидаемая реплика, направленная на дальнейшую гармонизацию отношений, это ответное «А я люблю тебя». Все остальные варианты ответов фактически ведут к конфликту.

Нередко прагматический компонент обладает в речевой деятельности бóльшим «весом», чем собственно семантический. Это значит, что говорящему важно не столько передать объективную информацию, сколько обозначить свое отношение к собеседнику: фатическая и эмотивная функции языка берут здесь верх над собственно коммуникативной. Хорошей иллюстрацией может служить речевое поведение Копёнкина, героя Андрея Платонова:

> Своими словами Копёнкин говорил **не смысл, а расположение** к Дванову: во время же молчания томился (А. Платонов. Кончина Копёнкина).

Значит – не важно, **что** говорил Копёнкин, важно – **как, с какой целью, по отношению к кому** он это говорил. Не случайно молчание мучило, томило Копёнкина.

А вот другой пример, не менее показательный. В повести чешского писателя Милана Кундеры «Невыносимая легкость бытия» (русский перевод Н. Шульгиной) одна женщина резко отрицательно отзывается об украшении, которое она видит на шее другой женщины. Почему она это делает? Ей не нравится это украшение? Вовсе нет: речь идет не о предмете (подвеске), а об отношениях между людьми.

> Францу стало вдруг совершенно ясно: Мари-Клод объявила Сабинину подвеску только потому безобразной, что **могла себе это позволить**. Еще точнее: Мари-Клод объявила Сабинину подвеску безобразной, чтобы дать понять: **она может себе позволить сказать Сабине**, что ее подвеска безобразна.

Есть типы речевых актов, в которых прагматика «подавляет» собой все остальные аспекты смысла. Это ругательства, клятвы, присяги, молитвы и т. п. В других случаях прагматическому аспекту смысла отводится сопутствующая роль, он сопровождает основную информацию. Примерами могут служить выражения типа *Сколько раз тебе говорить!* (передается возмущение: ‘какой ты непонятливый’); *А вам не кажется, что…* (вежливая форма несогласия: ‘я так не думаю’); *Осталось еще немного…* (сочувствие: ‘потерпите’); *Не смею вас больше задерживать* (неприязнь: ‘уходите’) и т. п. Приведу еще литературный пример.

Оказалось также, что насилие является наименее выгодной экономической стратегией. В учебнике это было написано прямо на первой странице – во введении, причем начиналась соответствующая фраза **унизительными словами: «Как всякому известно…»** (С. Болмат. Сами по себе).

Наглядно проявляется прагматический аспект речи в так называемых этикетных репликах. Скажем, вопрос «Как дела?» или «Как поживаешь?» в русском речевом общении – это, по сути, этикетная формула, стандартная разновидность приветствия. Он требует такого же шаблонного ответа: «Нормально», «Отлично», «Неплохо» – или просто пожатия плечами, но **не более того!** Если же адресат воспринимает вопрос буквально и начинает рассказывать о своих делах, то это значит, что он либо не знает прагматических правил русского языка, либо он просто зануда. Примером послужит цитата из юмористического рассказа Аркадия Аверченко.

Чиновник Хрякин быстро сует мне руку, бросает на ходу:

– Как поживаете, что поделываете?

И делает движение устремиться дальше. Но я задерживаю его руку в своей, делаю серьезное лицо и говорю:

– Как поживаю? Да вот я вам сейчас расскажу… Хотя особенного в моей жизни за это время ничего не случилось, но есть все же некоторые факты, которые вас должны заинтересовать… Позавчера я простудился, думал, что-нибудь серьезное, – оказывается, пустяки… Поставил термометр, а он…

Чиновник Хрякин тихонько дергает свою руку, думая освободиться, но я сжимаю ее и продолжаю монотонно, с расстановкой, смакуя каждое слово:

Да… Так о чем, бишь, говорил… Беру зеркало, смотрю в горло – красноты нет… Думаю, пустяки – можно пойти гулять. Выхожу… Выхожу это я, вижу, почтальон повестку несет… (День человеческий).

Конечно, речевой этикет в каждую эпоху и в каждом обществе соответствует некоторой культурной норме. Эта норма обусловливает многие частные правила, например: можно ли обращаться к человеку по фамилии, допустимо ли прерывать собеседника, на каком расстоянии от него следует находиться при обычном диалоге и т. п. И нельзя сказать, что один народ вообще «культурнее» или «вежливее», чем другой. Однако,

как говорится, не стоит входить в чужой монастырь со своим уставом: различия тут же дадут о себе знать. Приведу несколько примеров.

По-русски мы можем с кем-то попрощаться в общественном месте не только словами *До свиданья* или *Прощайте*, но и, скажем, *Всего доброго!*. Для поляка же Wszystkiego dobrego! – это не прощание, а **пожелание**, и оно требует в качестве условия некоторую степень внутренней симпатии, душевной общности между адресантом и адресатом. По-русски мы говорим: «Спокойной ночи!» – своим близким или знакомым, когда ложимся спать. А для поляков Dobranoc! – это просто вечернее прощание, и вы можете его услышать в семь вечера, уходя с работы. Особого внимания заслуживал бы этикет телефонного разговора, правила речевого поведения в поезде или в кабине лифта и т. д.

Обобщая подобные ситуации, приходится иметь в виду то, как представители разных народов организуют вокруг себя пространство (деля его на «свое» и «чужое») и какова социальная стратификация общества. М. А. Кронгауз, сравнивая русское речевое поведение с западноевропейским, находит, что для последнего характерны некоторые единые нормы, не зависящие от степени знакомства/незнакомства коммуникантов. А русское речевое общение в этом отношении различается. Неформальному общению русских свойственны контактность и открытость, формальному – дистантность и анонимность…

В центр внимания лингвопрагматики попадают возможности выбора одной языковой единицы из некоторого ряда. «Этот отбор показывает, какие элементы действительности, какие их свойства и отношения имеют приоритетное значение в речевом сознании говорящих на данном языке людей» (В. Г. Гак, 2000). В таком случае прагматика вездесуща, она охватывает все языковые уровни: этот аспект можно найти и у морфологических явлений (формы слова), и у синтаксических (модели предложения, конструкции подчинения и сочинения). Но наиболее естественной сферой ее «локализации» оказывается лексика.

Имеются в виду особенности употребления слов с оценочной окраской, синонимов и эвфемизмов, терминов и жаргонизмов и т. п. Уже говорилось о том, что при одинаковом отношении к объекту (семантике) и даже одинаковой сочетаемости (синтактике) знаки могут различаться исключительно своим прагматическим аспектом. Рассмотрим это еще на примере использования профессионализмов. Цитата из рассказа Алексея Толстого «Как ни в чем не бывало» хорошо показывает важность употребления специальных названий в профессиональной среде.

Помните раз и навсегда – в морском деле не было и не существует слова «веревка». На корабле есть ванты, есть фалы, есть шкоты, есть канаты якорные и причальные. Самая обыкновенная веревочка на корабле называется конец.

Но если вы в открытом море скажете «веревка» – вас молча выбросят за борт как безнадежно сухопутного человека.

(Добавлю, что профессиональная речь может отличаться и грамматическими формами, и ударением в отдельных словах. Таковы, к примеру, русские *компа́с, Мурма́нск* в речи моряков, *до́быча* в речи горняков, множественное число *пробела́* у типографских работников, а также *плинтуса́, допуска́, клапана́, клея* и т. п. у техников и строителей.)

Выбор подходящей номинации важен не только в профессиональной сфере. Сплошь и рядом прагматический аспект включает в себя **политизированную (идеологическую) оценку**. К примеру, во многих странах складывается ситуация, при которой необходимо как-то назвать участников национально-освободительных движений. Кто это: *повстанцы, революционеры, мятежники, сепаратисты*? Но ведь это не просто разные названия. Эти слова отражают (и сами формируют!) отношение носителя языка к данному явлению. Писатель Венедикт Ерофеев иронически заметил в своих «Записных книжках»:

Как прежде хорошо назывались всякие повстанцы: не патриоты, не бандиты, не душманы, не и т. д. А просто: инсургенты.

Но вот, по сообщению интернет-издания gazeta.ru (03.11.2005), администрация президента России (тогда еще В. Путина) на одном из брифингов запретила журналистам называть людей, выступающих за отделение Чечни, «сепаратистами». Запрещено было также использовать слова *шахид, моджахед, ваххабит* – вместо них предлагаются *террорист, боевик* и т. п.

С тех пор прошло несколько лет, политическая ситуация в каком-то регионе смягчилась, а в каком-то, наоборот, обострилась. Но лингвистический аспект проблемы сохраняется. Конечно, никто не интересуется мнением языковедов перед тем, как начинать обстрел или бомбардировку. Но то, что в общественном языковом сознании создается образ врага (или, наоборот, союзника, друга), и делают это политики, военные, журналисты именно языковыми средствами, с помощью прагматического аспекта знаков, – не подлежит сомнению.

Лингвопрагматику интересует также, как соотносится **предыдущий опыт (когнитивный и коммуникативный) участников диалога**: он должен включать в себя определенные общие предпосылки («пресуппозиции»). В противном случае может возникнуть непонимание («комму-

никативная неудача») или даже конфликт. Рассмотрим несколько примеров из русской художественной литературы.

В одном из рассказов Василия Шукшина молодой врач приезжает к директору совхоза: ему нужно выпросить листовое железо для сельской больницы. А заодно (может, в порядке благодарности или заискивания) врач предлагает свои услуги: прочитать в клубе лекцию о вреде алкоголя. Но оказывается, что он совершенно не знает местных условий.

Директор махнул рукой.

– Толку-то от этих лекций! Приезжайте, поговорите. Вот картину какую-нибудь интересную привезут, я позвоню – приезжайте.

– Зачем? – не понял Солодовников.

– Ну, лекцию-то читать.

– А при чем тут картина?

– А как людей собрать? Перед картиной и прочитаете. Иначе же их не соберешь. Что?

– Ничего. Я думал, соберутся специально на лекцию.

– Не соберутся, – просто, без всякого выражения сказал директор (В. Шукшин. Шире шаг, маэстро!).

Связь между киносеансом и чтением лекции потребовала для врача специального разъяснения: оказывается, что, кроме как кинофильмом, людей завлечь в клуб невозможно.

Следующий пример в чем-то похож на предыдущий. Разговаривают две женщины, одна городская (Катя) и одна деревенская (Лиза).

– Скажите… – Катя замолчала, обдумывая, как бы лучше оформить вопрос. – Вот у меня в городе есть подруга…

– Ну?

– Так вот, эта подруга разводится со своим мужем.

– Ну?.. – Лиза ждала продолжения.

– Вот как вы на это смотрите: женщина, еще молодая, и без мужа.

Лиза подумала и сказала:

– Так ведь в городе покоса нету (В. Токарева. Дом генерала Куропаткина).

По-видимому, Катя ожидала от собеседницы не столько совета, сколько простого женского сочувствия. А натолкнулась на непонимание. В репликах Лизы, с ее однообразными «Ну?», важно конечное умозаключение: мужчина нужен в семье прежде всего для того, чтобы обеспечить кормом домашних животных – накосить травы. А поскольку, живя в городе, животных никто не держит и траву косить не надо, то и роль мужчины сводится к нулю. Можно и не иметь мужа. За простой и будничной последней фразой скрывается совершенно иной жизненный опыт.

В следующей цитате, тоже из прозы Виктории Токаревой, герой пересказывает своей знакомой содержание сценария.

– И вот однажды он возвращается домой на рассвете. Под самогоном. Выходит на шоссе. Плетется, как движущийся предмет. Его сбивает какая-то машина, «Жигули» красного цвета. И уходит.

– Коррида, – задумчиво проговорила Зина.

Аникеев нахмурился. Не понял.

– Красный цвет в автомагазине называется «коррида».

– При чем тут «коррида»? Тебе было интересно?

– Очень интересно, – удрученно сказала Зина (В. Токарева. Коррида).

Аникееву важно заинтересовать слушательницу сюжетом, может быть, услышать одобрение, даже восхищение… Но у собеседников, судя по всему, разный жизненный опыт, да и степень заинтересованности в разговоре разная. Фраза «Красный цвет в автомагазине называется “коррида”», актуальная в иной коммуникативной ситуации, в данном случае оказывается неуместной: она разрушает беседу.

В начале XX века представителями Пражской лингвистической школы было введено в языкознание понятие **актуального членения высказывания**. Имеется в виду деление высказывания на две части: *тему* (в иной терминологии – *данное, топик* и т. п.) и *рему* (по-другому: *новое, фокус* и т. п.). В славянских языках актуальное членение, в частности, выражается порядком слов. Примером может служить разная последовательность элементов в следующих вариантах предложения:

Пересаживают деревья поздней осенью и

Поздней осенью пересаживают деревья.

В обоих случаях начальную позицию в высказывании занимает тема, а конечную – рема (она еще подчеркивается фразовым ударением). Но спросим себя: разве эти два варианта реплики не соотносятся определенным образом также с личностями собеседников, с целями общения, с обстоятельствами, в которых протекает диалог? Можно предположить, что первая фраза – естественное продолжение разговора о деревьях, это может быть совет более опытного садовода менее опытному, например: «Как ухаживать за деревьями? Их нужно подкармливать, формировать их крону. Пересаживают деревья поздней осенью». А вторая фраза – это продолжение разговора на тему «Осень», естественного, например, в устах учителя младших классов: «Что делают осенью? Собирают урожай, готовятся к зиме. Поздней осенью пересаживают деревья...» Очевидно, что у актуального членения высказывания сильный «личностный», прагматический подтекст.

В сферу лингвопрагматики входит также **отношение говорящего и слушающего к предмету речи** (оценка содержания как истинного или ложного и связанные с этим оттенки недоверия, иронии, одобрения, восхищения и др.). Все эти содержательные категории находят свое выражение в текстах, организуемых в соответствии со структурой конкретного языка и правилами речевого этикета. Например, недоверие к сказанному, возмущение, глубинное несогласие очень часто выражается по-русски через повтор реплики (Н. Ю. Шведова). Такой повтор обычно сопровождается особой «передразнивающей» интонацией, снижающей оценку мнения собеседника. Несколько примеров:

– А какая была коза! Ну, голубь, а не коза. Голубь!
– **Голубь!** – отодвигаясь от бабки, огрызнулась Нюрка. – Как почнет шнырять рогами, так не знаешь, куда и деваться (А. Гайдар. Тимур и его команда).

– Чо это вас так шибко в город-то тянет?
– Учиться… **«Что тянет».** А хирургом можно потом и в деревне работать (В. Шукшин. Космос, нервная система и шмат сала).

– …Выйду, только не за тебя.
– За кого же? Интересно.
– **Интересно**… Парень один, наш, деревенский.
– Где он?
– **Где, где**… На Урале, приедет и заберет меня.
– Кто он?
– **Кто**… Механик (А. Рыбаков. Дети Арбата).

Реплика может воспроизводиться и частично, и даже с нарушением каких-то грамматических или логических правил; но лексическое тождество подтверждается особой интонацией: это достаточно сильное средство поддержания диалога.

– Ты меня **любишь**? – спросила она.
– **Любишь, любишь** (А. Кабаков. Love история).

– Да я все про тебя знаю. Ты ведь меня звал, да?
– **Конечно**, тебя, – соврал он.
– **Конечно**, врешь, да? – уточняла она (Е. Попов. Мастер Хаос).

Раз уж зашла речь об интонации, то следует сказать, что фонетические средства – богатейший инструментарий для выражения прагматических значений. Кроме особенностей интонации и отклонений в ударении, сюда входит речевое «кривлянье» (это термин) и балагурство, намеренное разрушение слова, акцент, в том числе искусственно создаваемый. Множество анекдотов и баек – «грузинских», «еврейских», «эстонских» и т. д., как известно, основаны на имитации соответствующей речи; без этого теряется их соль. Приведем сначала пример речевого кривлянья:

– Профессионалы они высочайшие, и никуда от этого не **денесься**, – умышленно изувечив слово, он скосил на Гурова хитрый глаз (Н. Леонов. Профессионалы).

Почему человек произносит «денесься» вместо нормального «денешься?» Ответ один: это языковая игра, имеющая своей целью напомнить о неформальных отношениях, существующих между участниками диалога. «Денесься» – своего рода сигнал того, что собеседники знают друг о друге и об окружающем мире больше, чем говорят вслух.

Говорящий может также умышленно вкраплять в свою литературную речь элементы просторечной фонетики; это говорит и о его речевом опыте, и об отношении к описываемой ситуации:

Я – самый непьющий из всех **мужуков**:
Во мне есть моральная сила…

(*В. Высоцкий*. Поездка в город)

А в поэзии Дмитрия Пригова излюбленный прием – гипертрофированная редукция гласных. Тут можно встретить и «милицанер», и «прездент», и «Съединенные Штаты», и «мериканец», и «фекальи»… Это тоже как бы цитаты из чужой речи, служащие созданию авторской – глубоко ироничной, даже саркастической – картины мира.

От слова вообще может остаться только его часть – и этого может быть достаточно для понимания. Так, в пьесе Евгения Шварца «Тень» разговаривают два министра:

Первый министр. Здоровье?
Министр финансов. **Отвра.**
Первый министр. Дела?
Министр финансов. Очень **пло**.
Первый министр. Почему?
Министр финансов. **Конкуре**.

В этом диалоге метафора «понимать друг друга с полуслова» получает буквальное воплощение. Надо сказать, что это имитация вполне реальной ситуации в живой разговорной речи, когда собеседники, не дослушав, перебивают друг друга: достаточно оказывается «намека на слово».

Если говорить о формальной стороне речи, то стоило бы обратить внимание на прагматику письменного текста. Здесь можно было бы порассуждать о роли прописных букв, об использовании элементов «чужого» алфавита, о соотношении текста и иллюстрации, об искусственной «фонетизации» письма (чего стоит один только распространившийся в Интернете «жаргон падонкаф»), но все это большая и отдельная тема.

Вернемся к содержательной стороне речи. Говорящий может снабжать свои высказывания различным **метаязыковым комментарием**,

типа *фигурально выражаясь*, *как теперь говорят*, *мне не нравится это слово, но…*, *как бы это поточнее сказать…* и т. п. (см., в частности, работы И. Т. Вепревой о языковой рефлексии). И в этом проявляется не только отношение говорящего к слову и к собеседнику, но и отношение словесного знака к тому, кто его использует. Примеры:

Просто камень морской плоский, поставленный «на попа». **Фу, как грубо** – «на попа»! Грубый камень морской плоский, поставленный именно «на попа», а то как же еще – вертикально, что ль? (Е. Попов. Мастер Хаос).

Тарасюк постеснялся идти в синагогу, **уж больно неприличное слово**, и пошел выпить кофе в Сайгон (М. Веллер. Легенды Невского проспекта).

Учение – или, **как теперь принято говорить**, учеба – это многолетняя изнурительная война между классной доской и школьным окном (Ю. Поляков. Работа над ошибками).

Нередко говорящий также включает в свою речь **цитаты, крылатые слова или реминисценции**, свидетельствующие об определенном культурном багаже и рассчитанные на соответствующий опыт адресата (в том числе читателя). Два примера.

Как ни странно, я ощущал что-то вроде любви. Казалось бы – откуда? **Из какого сора**? Из каких глубин убогой, хамской жизни? На какой истощенной, скудной почве **вырастают** эти тропические **цветы**? (С. Довлатов. Заповедник; отсылка к стихотворению Анны Ахматовой «Когда б вы знали, из какого сора растут цветы…»).

– Светило медицины черт принес, – сказал медбрат. – В понедельник и такая невезуха. Скажи, за что?

– Да, – кивнула я. – **Сидим тихо, починяем примус**… (Т. Полякова. Как бы не так; отсылка к роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»).

Конечно, человек, читающий повесть Довлатова, может и не почувствовать «зашифрованных» здесь строк Анны Ахматовой; тем более вероятно, что читатель дамских детективов не знает текста «Мастера и Маргариты». В таком случае он воспримет только поверхностную сторону данных отрывков (хотя, конечно, странно: к чему бы это медицинский персонал в повести Поляковой заговорил о примусе?). Но у автора присутствует как бы сверхзадача: соотнести свой культурный опыт с внутренним миром читателя и наладить дополнительные каналы интеллектуального и эмоционального общения. Это «резерв смысла», по выражению П. А. Леканта. Для современного литературного процесса, знаменем которого становится интертекстуальность, постоянные отсылки к предыдущим текстам гарантируют определенную степень духовной общности: «Мы – люди одного круга, одной цивилизации». А применительно

к конкретным языковым единицам все это воплощается в прагматическом аспекте значения. Тем же прагматическим целям служит введение в речь иноязычных вкраплений: каких-нибудь sorry, noblesse oblige, sapienti sat, mea culpa, omnia mea mecum porto и т. п. – все это своего рода «проверка на образованность».

Обилие в речи так называемых **непрямых речевых актов** (им посвящена специальная монография В. В. Дементьева) заставляет лингвистов различать **локуцию** (от лат. locūtio ‘разговор, речь’ – то, что непосредственно говорится) и **иллокуцию** (от in + locūtio – то, что имеется в виду). Сами эти термины были предложены уже упоминавшимся логиком Джоном Остином. Поясню: одна и та же иллокутивная интенция может быть воплощена в разных высказываниях, в том числе и в таких, которые, казалось бы, имеют совсем посторонний смысл. Так, если говорящий хочет, чтобы некто закрыл окно в автобусе, он может выразить свое пожелание в следующих выражениях:

Закройте, пожалуйста, окно.
Вам не трудно закрыть окно?
Вы не смогли бы закрыть окно?
Вам не кажется, что из окна дует?
А вам не холодно?
Не понимаю, почему у нас именно это окно открыто!
Что за манера вечно оставлять окна открытыми!
Окна надо открывать только с одной стороны!
Знаете, как опасны сквозняки?
Может быть, вы пересядете на мое место, а то я боюсь простудиться?

В первой фразе из приведенной последовательности локутивное и иллокутивное содержание совпадают. Но уже в следующей имеет место разрыв между локуцией и иллокуцией. На вопрос «Вам не трудно...?» нельзя ответить: «Не трудно» – и остаться сидеть на месте. За вопросом скрывается просьба.

Просьба, пожелание, предупреждение, запрос (просьба об информации), угроза, обещание, сочувствие, декларация и т. п. – все это и есть разные виды речевых актов. Только учет иллокутивной функции (‘что имеется в виду?’) позволяет нам адекватно понять некоторые высказывания или вообще оценить их как правильные. Рассмотрим следующий пример.

– А там еще стоят камни?
– Где там?
– Под Мадрасом. На берегу.
– Стоят, – сказал Бочаров, **хотя ничего не понял**.
– А мама твоя как?
– **Спасибо** (В. Токарева. Все нормально, все хорошо).

В вопросе героини «А там еще стоят камни?» присутствует намек на какую-то общую историю, на прошлые взаимоотношения с Бочаровым, а, возможно, также и надежда на продолжение этих отношений. Бочаров же **ничего не понял**. Он или вообще забыл эту историю, связанную с камнями, или не хочет возобновления отношений. Он отвечает: «Стоят», чтобы не вдаваться в подробности и избежать ненужных ему упреков, короче, чтобы свести диалог к минимуму. Ответ «Стоят» – это, так сказать, проявление языкового конформизма, реплика, направленная на гармонизацию отношений между собеседниками. Еще любопытнее, что на вопрос «А мама твоя как?» тот же герой отвечает: «Спасибо». Он понимает, что «Мама как?» – это этикетный вопрос, и не более, и отвечает на него такой же этикетной репликой: благодарностью за проявленное внимание.

Рассмотрим еще несколько примеров непрямых речевых актов, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни. (Не будет большим преувеличением утверждение, что непрямые речевые акты в нашей коммуникативной деятельности встречаются чаще и выглядят естественней, чем прямые.)

Непрямые речевые акты

Пример высказывания	Локуция	Возможная иллокуция
Звонят	Констатация факта	Просьба: открой дверь
Сегодня на улице мороз	Констатация факта	Совет: надень шапку
Вы выходите? (в автобусе)	Вопрос	Просьба: дайте пройти
Когда ты зайдешь?	Вопрос	Приглашение в гости
У тебя есть конспект?	Вопрос	Просьба одолжить
Я поговорю с твоими родителями!	Обещание	Угроза
Что-то у меня голова болит сегодня	Констатация факта	Извинение или отказ
А когда у вас обычно обедают?	Вопрос	Просьба покормить
Будьте здоровы!	Приказание	Этикетная реплика
Здра-асьте!!	Приветствие	Категорическое несогласие

Разные исследователи предлагают различные **классификации основных видов речевых актов** – с названиями типа *директив, комиссив, ассертив, декларатив, экспрессив* и т. п. Несмотря на разное количество выделяемых типов, можно считать, что они в принципе универсальны – присутствуют в каждом языке. Осуществление же этих актов требует соблюдения **универсальных постулатов общения**, которые были сформулированы Паулем Грайсом (P. Grice). Их четыре.

Категория количества: твое высказывание должно содержать не больше и не меньше информации, чем требуется в данном случае.

Категория качества: старайся, чтобы твое высказывание было истинным (не говори того, что ты считаешь ложным или для чего у тебя нет достаточных оснований).

Категория отношения: не отклоняйся от темы.

Категория способа: выражайся ясно (избегай непонятных или неоднозначных выражений, будь краток и организован в своей речи).

Соблюдение этих постулатов – лишь **идеал**, и на практике говорящий нередко их нарушает. Но иногда это нарушение преследует специальную цель (используется как прием), и тогда это становится объектом лингвопрагматики. Например, произнося: «Война есть война», говорящий, казалось бы, нарушает категорию количества: эта фраза тавтологична, не содержит новой информации. На самом деле подобные конструкции имеют дополнительный смысл, в данном случае: ‘У войны есть отрицательные свойства, которых невозможно избежать’. Точно так же следующий диалог:

– У вас есть дети?
– Я не замужем

кажется бессвязным (нарушение категории отношения), если не увидеть за ним дополнительного смысла. И вообще странно: почему собеседница не отвечает прямо: «У вас есть дети?» – «Нет» – и все? Дело в том, что наряду с информацией ‘У меня нет детей’ она хочет передать не менее важную, с ее точки зрения, информацию: ‘Я считаю, что детей можно заводить только в браке’. Прямо об этом вроде бы не сказано, но по-другому нельзя истолковать допущенное «отклонение от темы».

Героини пьесы Людмилы Петрушевской «Анданте» уснащают свою речь непонятными или вообще искусственными иностранными словами:

Юля. ...Мне на вещи наплевать. У меня полные кофры. А в **Андстреме** сидишь, привязываются, подсаживаются со своими креслами, предлагают **пулы, метвицы**.

Ау. **Пулы** такие вязаные.

Юля. Нет, **пулы, метвицы, габрио**. Вроде все так невинно, а если с ними начать иметь дело, пропадешь…

Казалось бы, перед нами нарушение категории способа («выражайся ясно»). Но бесполезно искать в словарях русского языка слова *пулы, метвицы, габрио*, кажется, и города *Андстрем* не существует… Автор специально использует эти знаки «чуждости», заграничного мира, в котором живут героини: у таких искусственных названий сильный прагматический эффект.

В подобных случаях говорящий и слушающий должны обладать некоторыми общими сведениями, но уже не личностными, а социальными, принадлежащими всему языковому коллективу. Эти сведения могут носить предварительный характер (пресуппозиции) или же вытекать из смысла высказывания (импликации).

Т. Б. Ратбиль выделяет среди языковых аномалий русской речи аномалии прагматического характера. Причем эти аномалии могут быть связаны либо с соотнесением высказывания с «денотативной ситуацией», т. е. разнообразными явлениями в области референции, особенностей дейксиса, «позиции наблюдателя» и т. п., либо – с соотнесением высказывания с «речевой ситуацией», с интенциями говорящего и организацией коммуникативного акта в целом. Значит, и прагматическая норма тоже охватывает эти две группы явлений – что мы и могли наблюдать в приведенных ранее примерах.

Разумеется, реализация постулатов общения и пресуппозиций сопряжена **с особенностями конкретного языка**, а также с принятыми в данном сообществе этическими нормами. Соответствующие примеры можно найти даже не выходя за пределы славянских языков.

Например, в соответствии с конвенцией, принятой в польском языке, регулярной формой выражения благодарности (это иллокуция) является там похвала (локуция), например:

Jest pan bardzo miły (‘Вы очень милы’).
Jesteś kochana, cudowna etc. (‘Ты любимая, чудесная’ и т. п.).

Для русского речевого этикета такой замены не наблюдается, здесь скорее похвала будет **соседствовать** с благодарностью (*Спасибо, ты просто прелесть!* и т. п.).

В болгарском языке для выражения вежливой просьбы регулярно используются глагольные формы сослагательного наклонения:

Бихте ли ми направили едно кафе (букв. ‘Вы бы сварили мне кофе’);

Бихте ли дошли за малко при мен (букв. ‘Вы зашли бы ко мне ненадолго’);

Бихте ли искали да прочетете тоя текст? (букв. ‘Вы хотели бы прочитать этот текст?’)

В русском языке в подобных ситуациях, скорее всего, была бы выбрана другая форма – повелительного наклонения или будущего времени с отрицанием (*Сварите мне, пожалуйста, кофе* или же *Вы мне не сварите кофе?* и т. п.).

Если попробовать подытожить, систематизировать все то многообразие прагматических оттенков, которые были продемонстрированы выше на литературном материале, то самые яркие, самые важные их проявления можно свести к трем смысловым сферам. Это:

- **объективная модальность**, т. е. отношение содержания высказывания к действительности. В самом общем виде это противопоставление по реальности – ирреальности, а в более частных случаях – разграничение возможности, желательности, необходимости (долженствования) и т. п.;
- **субъективная модальность**, т. е. отношение говорящего к тому, о чем идет речь. Субъективная модальность включает в себя оценочную квалификацию, соотнесение со шкалой «хорошо – плохо». А если трактовать ее более подробно, то она воплощается в многообразных оттенках отношения, типа «восторг», «удовлетворение», «сожаление», «недоумение», «ирония», «возмущение» и т. п.;
- **фатика** (от названия одной из функций языка – фатической). В узком смысле фатика – это установление и поддержание речевого контакта. Но в широком коммуникативном плане сюда входят все речевые усилия, направленные на регулирование межчеловеческих отношений, на установление связей в микроколлективе, на реализацию социальных ролей и масок.

В целом же, как мы видим, прагматический аспект содержания знака (и вообще языка/речи) оказывается необходимым и очень важным для «эффективного речевого воздействия» (И. А. Стернин, 2008). Отношение знака к говорящему и слушающему, сам характер его (знака) использования в конкретной ситуации позволяет полнее выявить личности собеседников.

Известный американский психолог Уильям Джеймс (W. James) утверждал, что имя вещи в большей степени характеризует нас (называющих), чем саму вещь. Стоит привести эту мысль в более развернутом виде, как цитату из книги литературоведа Бенедикта Сарнова «Наш советский новояз»:

> Язык, сама структура, сам строй речи, тот способ, к которому прибегает человек для выражения своих мыслей, начиная с выбора слов и кончая конструкцией фразы, выдают его с головой. В результате оказывается, что говорящий, сам того не желая, сказал гораздо больше, чем хотел.

Не слишком ли широким оказывается объем лингвопрагматики? Не слишком ли она «всеядна»? Ведь получается, что к ее сфере относится в языке буквально все, кроме, так сказать, голой информации? Но такая содержательная широта и размытость прагматики оправданна. Дело в том, что в самом речевом общении личность говорящего и личность слушающего естественно соотносятся с условиями речевого акта: «кто» и «кому» внутренне связаны с «где» и «когда»; те обстоятельства, в свою очередь, предполагают определенные причины и цели общения («почему» и «зачем»), и все это воплощается в жанрово-стилевом многообразии речи («как»). Так что лингвопрагматика – комплексная, синтетическая, в каком-то отношении пограничная или межграничная, дисциплина, впитывающая в себя достижения своих предшественниц.

ЛЕКЦИЯ 2

ИМЯ СОБСТВЕННОЕ И ИМЯ НАРИЦАТЕЛЬНОЕ В КОНТЕКСТЕ НАЗЫВАНИЯ И ОБРАЩЕНИЯ

Возьмем простой случай: человек должен вступить в контакт с другим человеком – и прежде всего обратиться к нему. Для этого у него есть множество возможностей, и все они обусловлены конкретной ситуацией. Говорящий по-русски может выбрать такие названия, как *приятель, сосед, девушка, тетя, коллега, земляк, мужик, товарищ, лейтенант, товарищ лейтенант, ваша честь, Ваше высочество, батюшка, гражданин, гражданин начальник* и т. п. – это все имена нарицательные. Конечно, в их значении присутствует (в большей или меньшей степени) прагматический аспект. Выбранное слово много скажет нам не только об адресате речи, но и о самом говорящем.

Как известно, в современном русском языке нет универсального и нейтрального способа обращения к взрослому человеку, подобного тому, что есть в польском или чешском языке (там это слова pan и pani в соответствующих формах). Еще в советские времена предлагалось возродить *сударь* и *сударыня*, но они так и не прижились. А обращения *господин, гражданин* и *товарищ* оказались в XX веке слишком «политизированы»: *господин* несет некоторую «либерально-буржуазную» окраску, *товарищ* – «партийно-советскую», а *гражданин* – казенно-официальную. *Дядя* или *тетя* уместно в устах ребенка или подростка, а *коллега* – явно «интеллигентское» слово… Это в самых общих чертах, а в конкретных случаях всё зависит от того, с кем, о чем и в какой обстановке вы разговариваете, а также от вашего собственного статуса. Писатель Сергей Довлатов, оказавшись в Америке, заметил:

> Слово *господин* в эмиграции – тонкая шпилька. То есть вежливость несет почти единственную функцию – оскорбления (из письма И. Ефимову).

Обращение к собеседнику может довольно строго регламентироваться условиями общения. В частности, обращение типа *товарищ лейтенант, товарищ капитан* было принято в Советской армии и узаконено в нынешней российской, но в царской армии обращались: *господин лейтенант, господин капитан*. Интересно, что солдаты штрафных батальонов (набранных во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. из числа отбывавших наказание – заключенных) могли обращаться к старшим по званию только с прибавкой *гражданин*, но не *товарищ* (*гражданин лейтенант, гражданин капитан* и т. п.).

При этом воинский устав требует, чтобы младший по званию свои ответы обязательно заканчивал упоминанием статуса старшего по званию, с которым он разговаривает. Литературный пример.

– Зачем же ты приключений ищешь?
– Затем, что подобные вещи кончаются резней.
– Товарищ подполковник.
– Резней, товарищ подполковник. […]
– Права думаешь качать?
– Не собираюсь.
– Товарищ подполковник.
– Не собираюсь, товарищ подполковник.
– Вот и замечательно (С. Довлатов. Зона).

Здесь подполковник несколько раз напоминает младшему по званию о правилах «воинского этикета», – а по сути, он постоянно подчеркивает дистанцию в их социальном положении: это чистая прагматика.

Очень часто обращение содержит в себе указание не только на социальный статус, но и на пол или возраст общающихся. Скажем, в XX веке в Ленинграде (и некоторых других регионах Советского Союза) к немолодой и прилично одетой женщине регулярно обращались: «Дама!» А вот обращение *Милочка!* может быть адресовано как раз только молодой женщине (чаще в сфере обслуживания) и исходить оно может только от немолодого человека (обычно тоже женщины). Политик Ирина Хакамада в одном газетном интервью приравняла обращение *Милочка!* к «похоронному комплекту одежды “Прощай, молодость!”»: по ее мнению, это столь же явный признак старения…

Приведу еще два примера уже не из литературных, а из кинематографических источников.

«Ваше благородие, госпожа удача!..» – поет Верещагин, бывший начальник таможни, в кинофильме «Белое солнце пустыни». Современный зритель не очень вдумывается в эту метафору: почему удача – «благородная». В царской России с помощью слова *благородие* титуловались офицеры (от прапорщика до капитана), а также приравненные к ним граж-

данские чины. И Верещагин, сам бывший офицер, распространяет на абстрактные сущности (*удача, разлука, чужбина, победа*) правила общения, принятые в офицерской среде.

А в фильме Алексея Германа «Мой друг Иван Лапшин» есть сцена, где отпетый бандит и убийца, попав в облаву, кричит:

– За что, дяденька?! Дяденька, не стреляй!

Посредством слова *дяденька* он занижает свой статус, притворяется маленьким и беспомощным, взывает о сочувствии. Это пример использования «детского» обращения для создания речевой маски.

В отличие от некоторых других языков русский не допускает обращения по профессии или по должности. Нельзя обратиться по-русски: «Редактор!», «Профессор!», «Механик!», «Актриса!» Пожалуй, исключение составляет медицинская среда, где распространены обращения *Доктор!* и *Сестра!* (или *Сестричка!*), но опять-таки не *Врач!* или *Лаборант!* Кроме того, допустимо также *Водитель!* в общественном транспорте и *Шеф!* в такси или маршрутке. Отсутствие универсального и нейтрального обращения в русском языке привело к широкому распространению слова *девушка*, особенно в сфере обслуживания, причем употребление этого слова почти не ограничено возрастом адресата. Теми же причинами объясняется использование в общественных местах (на улице, в транспорте, в ресторане и т. п.) субститутов типа *Извините!, Послушайте!, Можно вас?* и даже *Как вас там?, Слышь!, Эй!* и т. п.

Естественным обращением (и именованием) собеседника по-русски является использование его имени собственного – **антропонима**, которое в наиболее полном варианте состоит из трех частей: личного имени, отчества и фамилии (например: *Александр Михайлович Сидоров*). Антропонимикон (совокупность используемых в данном обществе имен) – очень важная сфера прагматики. Русская пословица гласит: «С именем – Иван, без имени – болван».

Я не буду сейчас говорить об истории русских имен и фамилий (об этом есть много публикаций: А. М. Селищева, Б. Унбегауна, А. В. Суперанской, А. Б. Пеньковского, И. Э. Ратниковой и др.), но отмечу сразу, что отчество – в некотором смысле русский «специалитет». Это, с одной стороны, «диахронический» признак, вписывающий человека в определенное генеалогическое древо (причем, что любопытно, по отцу, а не по матери – т. е. это наследство патриархата). С другой стороны, отчество служит как бы дополнительным дифференциальным признаком в случае, если имя и фамилия совпадают (что бывает, в общем, не так уж редко, например: *Алексей Николаевич Толстой* и *Алексей Константинович Тол-*

стой). Отчество в каком-то смысле показатель **социальной зрелости** человека. Если маленький мальчик или девочка на вопрос «Как тебя зовут?» называет свое имя и отчество, это неизменно вызывает смех. «Вступить» в отчество – это как бы пройти обряд языковой инициации.

Впрочем, и фамилия в некотором смысле знак взросления человека, его вхождения в социум. Приведу пример из повести Льва Кассиля, в которой описываются события начала XX века:

> Неужели же это тот самый Фектистка, на тощей спине которого мы когда-то впервые разглядели знаки различия между людьми, делающими вещи и имеющими их? **У него теперь фамилия была!** (Кондуит и Швамбрания).

Конечно, выбор имени для ребенка или для героя литературного произведения имеет под собой определенные основания. Это может быть не только употребительность имени (его «модность» на современном этапе) или его эстетические свойства («благозвучность» и т. п.), но и ориентация на церковные каноны (святцы), на национальные традиции, на события общественной жизни и т. п. Достаточно вспомнить, как А. С. Пушкин оправдывал выбор имени *Татьяна* для своей героини в «Евгении Онегине»:

> Ее сестра звалась Татьяна…
> Впервые именем таким
> Страницы нежные романа
> Мы своевольно освятим.
> И что ж? **оно приятно, звучно;**
> Но **с ним, я знаю, неразлучно**
> **Воспоминанье старины**…

Известны, сегодня уже в качестве казусов, многочисленные личные имена, появившиеся в послереволюционную эпоху – в том числе сложносокращенные типа: *Владлен* (Владимир Ленин), *Ким* (Коммунистический Интернационал Молодежи), *Ренат* (Революция, Наука, Труд), *Ревмира* (Революция мира), *Марлен* (Маркс, Ленин), *Мэлс* (Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин), *Нинель* (имя *Ленин*, прочитанное справа налево), *Лелюд* (Ленин любит детей), *Тролебузина* (Троцкий, Ленин, Бухарин, Зиновьев), *Статор* (Сталин торжествует) и др.

Всё это своего рода словесные памятники социализму. Даже имена, уже существовавшие до тех пор, в первой половине XX века подлежали новому прочтению. Германское по происхождению женское имя *Гертруда* было переосмыслено как «Героиня труда», мужское *Рем* – как «Революция мировая», а *Луиджи* – и вовсе как «Ленин умер, но идеи его живут».

Впрочем, мотивировка имени, его этимологическая родословная мало что значит для современного человека. Крайне редко родители дают

ребенку имя *Петр* на том основании, что в древнегреческом это значило ‘камень’, или имя *Ксения* потому, что оно значило ‘чужая, иноземка’. Скорее, при выборе имени действуют другие факторы, и прежде всего общественная мода. Имя вписывает человека в контекст эпохи.

Так, в течение нескольких лет после полета в космос Юрия Гагарина (1961) в Советском Союзе мальчикам охотно давали имя *Юрий.* А если женщину сегодня зовут *Анжелика*, то я могу с большой долей уверенности предположить, что она родилась между 1970 и 1980 годами, когда на пике популярности были авантюрные романы про Анжелику авторства Анн и Сержа Голон (а также их экранизации). Имена политиков, эстрадных звезд, телеведущих, спортсменов, вообще «публичных людей» влияют на психологическую оценку того или иного антропонима. Наверное, сами того не подозревая, Владимир Путин и Мария Шарапова, Максим Галкин и Алла Пугачева, Филипп Киркоров и Ксения Собчак работали и продолжают работать на имидж своего личного имени. Еженедельник «Аргументы и факты» (2007. № 28) не без ехидства замечал, что некоторые фанатки-мамы уже дали своим малышам имя *Дибил* – в честь поп-певца Димы Билана.

Рейтинг имени, естественно, подвержен колебаниям; каждое десятилетие обновляет список модных имен. В последнее время самые популярные мужские имена в русскоязычном регионе – *Андрей, Никита, Максим, Александр*, женские – *Анастасия, Дарья, Мария, Ксения*. С одной стороны, феномен моды непобедим – сопротивляться ему невозможно, как и в одежде или в музыке. С другой стороны, обладатель модного имени испытывает некоторые неудобства. Скажем, не так уж приятно, когда в классе пять *Даш* и шесть *Кать*; имя тем самым теряет свою дифференцирующую (и идентифицирующую) силу. Да и потом, вчера это имя могло быть популярным (взять хотя бы ту же *Анжелику*), а сегодня на него смотрят примерно как на плащ-болонью: уже немодно…

Учитывая то, что личное имя существует в официальном (документальном), разговорном и уменьшительном вариантах (*Анна, Аня, Анюта, Аннушка, Анечка, Анютка, Ася, Нюра, Нюша, Нюся* и т. д. – у некоторых имен есть по 30–40 вариантов!), и то, что имя, отчество и фамилия могут выступать в разных комбинациях и последовательностях, становится понятно, что у русского человека широкий диапазон выбора.

Если обозначить имя через И, отчество – через О, а фамилию – через Ф, то выбор происходит из числа следующих вариантов: Ф, И, О, ИФ, ФИ, ИО, ФИО, ИОФ. Это значит, что мы можем сказать, например, по отношению к одному и тому же человеку: *Саша, Саня, Шура, Санька, Шурка, Алик, Александр, Александр Михайлович, Михалыч, Александр Сидоров,*

Сидоров Александр Михайлович, просто *Сидоров* и т. д. При этом учитывается возраст, социальное положение, родственные связи, эмоциональное состояние собеседников, обстановка, в которой происходит диалог, цели общения и другие факторы. (См. на эту тему работы А. Вежбицкой, А. Е. Супруна, М. А. Кронгауза, Е. С. Отина, Е. М. Верещагина и В. Г. Костомарова и др.) В частности, уменьшительные личные имена – это сфера близких, родственных, интимных отношений, общения с маленькими детьми и т. п.

У каждого народа свои правила использования личного имени. Известен случай, когда президент России Б. Н. Ельцин при встрече с премьер-министром Японии Рютаро Хасимото предложил тому обращаться друг к другу по имени (соответственно *Борис* и *Рю*), но столкнулся с недоумением и неудовольствием. Очевидно, Ельцин хотел «как лучше», но он не знал, что в Японии взрослого человека могут называть по имени только его родители или вообще старшие члены семьи.

Социально-психологическая ценность имени заслуживает особого разговора. Для свободного человека имя составляет предмет его достоинства и гордости. Философ Николай Бердяев, осуждавший диктат «мы» над «я», признавал свободной личностью только «вот этого человека с именем собственным, заключающего в себе максимальное количество национальных, социальных, профессиональных и других признаков». Немец, отвечая на телефонный звонок, первым делом называет себя. Поляк на своем частном доме вешает табличку со своей фамилией. А для человека, воспитанного советской властью, кажется предпочтительней анонимность. Мы живем с подсознательным ощущением того, что обнародование имени может причинить ущерб его владельцу. А уж если без имени не обойтись, то многое значит выбор нужного варианта.

Приведу примеры из русской литературы. Главного героя киноповести Василия Шукшина «Калина красная» зовут Егор Прокудин. Начальник колонии обращается к нему по фамилии: *Прокудин*. При выходе бывшего заключенного на свободу он спрашивает:

> – Ну, расскажи, как думаешь жить, **Прокудин**?

Кличка Прокудина в уголовном прошлом – *Горе*. Сам автор (рассказчик) называет его наиболее нейтрально: *Егор*. Когда Егор, уже на свободе, представляется женщине, с которой хочет связать свою судьбу, то называет себя более «литературно»: *Георгий*. Она обращается к нему *Егор, Егорушка, Егорша.* Ее брат Петр (Петро) предпочитает использовать имя *Жора, Жоржик*. (На что Егор, поддерживая эту игру, добавляет: «*Джордж*».) Каждый из этого окружения преследует, естественно, свои

цели. Но симптоматично: никто на протяжении всей повести не называет героя по имени-отчеству: он как бы не заработал еще такого авторитета.

Другой пример того, как говорящий «подстраивается» своим именем под собеседника:

– Давайте познакомимся, – сказала женщина. – Я **Люля**.
– Игорь Николаевич.
– Тогда **Елена Геннадьевна** (В. Токарева. Лавина).

Здесь женщина, представляясь, называет свое разговорное (домашнее) имя *Люля*, но видя, что собеседник именует себя официально, корректирует свое речевое поведение и тоже переходит на официальное имя-отчество: *Елена Геннадьевна*.

Следующие литературные примеры показывают нам, что обращение по фамилии во многих ситуациях для русского человека неприемлемо; а вот имя-отчество – наиболее удобный нейтральный вариант применительно к взрослому и не очень близкому человеку.

Шариков […] позвал доктора Борменталя: «**Борменталь**!»
– Нет, уж вы меня по имени и отчеству, пожалуйста, называйте!» – отозвался Борменталь, меняясь в лице (М. Булгаков. Собачье сердце).

– Давайте в гостиницу, – согласился я и вежливо отобрал у него чемодан. – Скажите, **Лунёв**, как вас по батюшке?
– Евгений Корнеевич.
– Так вот, **Евгений Корнеевич**, расскажите капитану Гаеву, как лучше добраться до Верхнеславянска (В. Михайлов. Слоник из яшмы).

Можно сказать, что обращение только по фамилии (*Прокудин, Борменталь, Лунёв*) – сфера официоза (учитель к ученику, чиновник на службе – к простому гражданину и т. п.). Для русского (и не только!) речевого этикета это всегда особые случаи, окрашенные, я бы сказал, грубоватым оттенком.

Сравним заметку в польской газете:

…Kandydat AWS **w swojej strategii zwycześtwa** ponad dwadzieścia razy wymienił SLD lub tylko «postkomunistów», nazwisko Millera i Kwaśniewskiego, konsekwentnie **pomijając ich imiona, co sugeruje lekceważenie** (Rzeczpospolita. 2000.7 lipca).

Здесь говорится о том, как один политик в своей речи называл фамилии своих политических оппонентов, «регулярно опуская их имена, что внушает мысль о пренебрежительном отношении».

Однако в других славянских языках называние или обращение по фамилии, особенно в разговорной ситуации, стилистически вполне приемлемо. Например, болгарин спокойно может так обратиться в служебной

обстановке к своему коллеге, с которым его связывают давние приятельские отношения: «Ти кво правиш, Петров? Хайде да обядваме!» (букв. ‘Ты что делаешь, Петров? Пошли обедать!’).

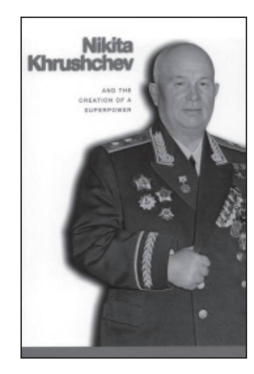
Обращение только по отчеству (*Петрович, Палыч, Ивановна*) сегодня выглядит довольно патриархально, но нельзя сказать, что оно исчезает совсем. Здесь присутствует определенное уважение (обычно к немолодому человеку) и вместе с тем «свойское», запанибратское отношение. Для определенной социальной категории лиц это вполне живое обращение/именование, ср.:

> Один очень рослый родственник Серегин, дядя Егор, наклонился к Сереге, к уху, спросил:
> – Как ее величать?
> – **Никаноровна**. Клавдия Никаноровна (В. Шукшин. Беспалый).

Здесь Серега сначала дает общераспространенное название (видимо, все в деревне называют женщину по отчеству: *Никаноровна*), а потом, спохватившись, поправляется и приводит полное имя и отчество.

В молодежной среде встречаются ситуации, когда отчество используется как жаргонное наименование, как кличка, причем нередко производная от имени или фамилии. Например, в «Большом словаре русских прозвищ» Х. Вальтера и В. М. Мокиенко находим: *Никодимыч* – прозвище молодого человека по фамилии *Никодимов* и т. п.

Зато для официального (или официозного) русского именника отчество представляет собой важный и неизменный компонент. В советские времена невозможно было сказать или написать о Хрущеве – «Никита Хрущев» или о Брежневе – «Леонид Брежнев», это позволяли себе только западные деятели (в том числе журналисты). По-русски же обязательно требовалось *Никита Сергеевич (Хрущев), Леонид Ильич (Брежнев).* Только после развала СССР и некоторой демократизации жизни на постсоветском пространстве стали возможны двучленные номинации типа *Леонид Брежнев* или *Дмитрий Медведев.* Феномен «отречения от отчества», несомненно, спровоцирован влиянием западноевропейских языков. Но сегодня это массовое явление. В Беларуси, например, бывший Витебский педагогический институт стал *Витебским государственным университетом имени Петра Машерова* (Петр Миронович Ма-



Обложка изданной в США книги о Н. С. Хрущеве

шеров – известный в Беларуси государственный и партийный деятель, но официальное название такого рода – типа ИФ – при советской власти было невозможно).

Вообще, в современной Беларуси (топоним «Беларусь» принят после 1990 года) сталкиваются две общественно-политические и культурные тенденции: одна – ориентированная на восток, на Россию, вторая – на запад, прежде всего на соседнюю Польшу. И приверженцы этой второй точки зрения стремятся отказаться от отчества и перейти на двучленную «западную» систему именования. Это касается не только белорусского языка, но и используемого в республике русского языка. Например, пишут в официальных текстах не *Сергей Александрович Комяк*, а просто *Сергей Комяк*. Аналогичная ситуация имеет место в современной Украине. Таким образом, употребление или неупотребление отчества становится, как бы это ни казалось странным, инструментом идеологической борьбы.

В разговорной речи представляют интерес ситуации, когда говорящий должен назвать собеседника по имени и отчеству, а отчества-то он и не знает. Тогда он тянет время (явления хезитации, колебания) в ожидании, пока ему подскажут: «Здравствуйте, Сергей… э-э… Николаевич!» Или же употребляет шутливое «местоименное» отчество *Батькович* (от *батька* ‘отец’): «Здравствуйте, Сергей Батькович!»

В живой речи возможны как исключение даже такие странные варианты, как комбинации разговорного имени и отчества, ср.:

> Реформатский дружил с ним [профессором Петром Саввичем Кузнецовым. – *Б. Н.*] всю жизнь. Он и Макаев звали Петра Саввича Петей, а мы – в знак особой нежности – за глаза звали его **Петя Саввич** (Р. М. Фрумкина. Внутри истории).

Конечно, в других условиях (см. оговорку: «за глаза», т. е. не в присутствии Кузнецова!) или по отношению к другой личности, в других целях **так** невозможно было сказать; был бы выбран другой антропоним или другие его формы – в этом и заключается прагматическая специфика имени.

А если учесть, что многочисленные варианты русских антропонимов еще комбинируются с выбором обращения на «ты» или на «вы», то понятно, что перед нами огромное богатство прагматических оттенков. В частности, оказываются возможными и такие сочетания, как *вы, Саша* или *ты, Александр Михайлович.* Обращение типа *вы, Саша* – это нормальное обращение учителя к старшекласснику, преподавателя вуза – к студенту, вообще «интеллигентное» обращение к неблизко знакомому молодому человеку. Обращение типа *ты, Александр Михайлович* скорее встречается в полуофициальном общении взрослых, хорошо знакомых между собой.

В этих тонких различиях воплощается, в частности, широко понимаемая категория вежливости. После работ П. Браун и С. Левинсона (P. Brown & S. D. Levinson, 1987) принято, наряду с «позитивной вежливостью» (positive politeness), выделять «негативную вежливость» (negative politeness). Под последней понимается стремление каждого человека иметь определенную свободу действий, сохранять независимость от других людей, и понятно, что выражение этой тенденции тоже имеет прямое отношение к прагматике. Позитивная вежливость предопределяет коммуникативную стратегию сближения, а негативная, наоборот, – отдаления собеседников.

Стоит упомянуть еще об использовании сокращенных имен, в частности инициалов. Человека по имени *Петр Фомич* могут звать в своем кругу *Пэ Эф,* по имени *Нина Петровна – Эн Пэ*. Это – прозвища.

Надежда Петровна, или «**ЭнПэ**», как за глаза звали ее сотрудники, считалась работающей в Институте языкознания (Р. М. Фрумкина. Внутри истории).

В пьесе Александра Володина «Осенний марафон» одну из героинь зовут Нина Евлампиевна. Ее соперница называет ее *Эн Е*:

– А твоя дочка на кого похожа? – спросила Алла. – На тебя или на **Эн Е**?

Прозвища образуются также из сокращения элементов полного имени. Так, в повести «Республика ШКИД» Г. Белых и Л. Пантелеева действует учитель по имени *Виктор Николаевич Сорокин*; дети зовут его *Викниксор.* Это вообще довольно популярная модель образования прозвищ учителей. В словаре Х. Вальтера и В. М. Мокиенко зафиксированы *Вигрик* – Виктор Григорьевич, *Гальпетка* – Галина Петровна и т. п.

Для русского речевого обихода характерны некоторые **гендерные особенности** обращения. Как известно, пол общающихся (и их представление о своей половой роли) накладывает определенный отпечаток на использование языковых средств: женщины, к примеру, больше используют эмоционально окрашенной лексики и т. п. Заметны и особенности в сфере антропонимики, в том числе в ситуации контактоустановления.

В частности, встречаются ситуации, когда женщина называет своего мужа или любовника по фамилии – и так же к нему обращается. Примером из классической русской литературы может служить рассказ А. П. Чехова «Попрыгунья», в котором жена всегда обращается к своему мужу – *Дымов* – и так же его называет на людях:

Ольга Ивановна всегда звала мужа, как всех знакомых мужчин, не по имени, а **по фамилии**; его имя Осип не нравилось ей…

Любопытно, что это преимущественно **женский** способ именования / обращения (мужчины своих спутниц по фамилии называют значительно

реже, это звучит грубовато). Но асимметрия в именовании не мешает семейным или любовным отношениям. Ср. еще из «Доктора Живаго» Б. Пастернака:

Он давно был на ты с Антиповой и звал ее Ларою, а она его – **Живаго**.

Вместе с тем именование жизненного спутника по фамилии подвержено влиянию языковой моды. Так, в советском обществе это явление было довольно распространенным в 20-е годы XX века (Никита Сергеевич Хрущев, по воспоминаниям, звал свою молодую жену по фамилии: *Кухарчук*), а затем, в 60-е, вновь вернулось в молодежную среду.

Данный факт любопытен в типологическом (сравнительном) освещении. Скажем, финны в диалоге вообще избегают упоминания имен собеседника. Но если это все же случается, то мужчины нормально обращаются (и к мужчинам, и к женщинам) по фамилии. Для женщин же это нехарактерно. По наблюдениям исследователей, если женщина обращается к собеседнице (или собеседнику), допустим, «Kuusinen», это значит, что она шутя как бы примеряет к себе мужскую роль.

Сравнительно новым фактом в русском речевом обиходе являются комбинации уменьшительного имени (диминутива) и отчества, типа *Татьяночка Ивановна* или *Беллочка Сергеевна*. Это сугубо женские номинации, и возникают они обычно в среде обслуживающего персонала (младший медперсонал, секретарши, продавщицы, работницы бухгалтерий, канцелярий и т. п.). Они сочетают в себе просторечную фамильярность с легким заискиванием.

Некоторые русские личные имена существуют, так сказать, в мужском и женском вариантах: *Евгений* и *Евгения, Валерий* и *Валерия, Валентин* и *Валентина, Александр* и *Александра*; при этом разговорные и уменьшительные варианты у них нередко совпадают: *Женя, Валя, Саша, Шура* и т. п. В детской среде такие имена (по крайней мере у мальчиков) не очень приветствуются, по-видимому, именно из-за их «бисексуального» характера. Но вот у драматурга Михаила Рощина есть пьеса о любви «Валентин и Валентина», в которой использование мужского и женского имен, «соответствующих» друг другу, как раз показывает: при всех различиях мужского и женского начала, мужской и женской психологии это как бы две половинки одного человека.

Влюбленные очень часто придумывают друг другу особые прозвища: это входит в их стратегию создания своего собственного мира. Причем это могут быть не только оригинальные уменьшительные имена, вроде *Ушка* (от *Танюшка*), но и разнообразные зооморфные прозвища: *Мартышка, Хомяк, Чижик, Ежик* и т. п.

Интереснейший феномен – **язык внутрисемейного общения**. Лингвисты придумали даже специальный термин – фамилиолект, т. е. язык семьи (см. работы польской исследовательницы K. Handke). Он образуется специальными названиями (не употребляемыми за пределами данной семьи или употребляемыми, но в других значениях). Это могут быть искусственные или искаженные названия (например, созданные когда-то детьми) или же слова, получившие «особые» значения по каким-то причинам, известным только членам семьи. В домашней среде формируется и своя система имен и прозвищ.

Например, не редкость, когда ребенка в семье называют своим, особым «домашним» именем, не совпадающим ни с его полным, ни уменьшительным именем. Допустим, человека по имени *Адам* «свои», домашние называют *Слава*. Литературный пример, из романа И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев»:

– Послушайте, – сказал вдруг великий комбинатор, – как вас звали в детстве?

– А зачем вам?

– Да так! Не знаю, как вас называть. Воробьяниновым звать вас надоело, а Ипполитом Матвеевичем – слишком кисло. Как же вас звали? **Ипа**?

– **Киса**, – ответил Ипполит Матвеевич, усмехаясь.

Вообще же контактоустановление в рамках семейного круга регламентируется своими правилами. Для современного русскоязычного общения характерна такая система. По горизонтали (т. е. на одном возрастном и статусном уровне) или же при обращении «сверху вниз» (от родителей к детям) используются личные имена. Например, муж говорит жене: *Маша* или *Мария*, а детям – *Коля* и *Таня.* Если же дети вырастут или же отец будет ими в чем-то недоволен, то он может сказать: *Николай* и *Татьяна*. Обращение по вертикали «снизу вверх» производится по статусу и на «ты». Дети говорят отцу: *папа,* а также *папаня, па, папка, папочка*, в особых случаях – *отец* или *батя*. Ушло в прошлое обращение к родителям на «вы», принятое в патриархальной российской среде XVIII–XIX вв. Любопытно, что к тестю/теще и свекру/свекрови обращаются либо как к посторонним людям, по имени и отчеству, либо (это чаще женская речевая черта) с «повышением» их статуса – *папа* и *мама* – это «сближающая» стратегия.

Чрезвычайно характерной чертой русского речевого обихода является метафорическое использование названий родственников для обращения к незнакомому человеку (и вообще для именования постороннего человека). Это такие слова, как *отец, папаша, батя, мать, мамаша, сестра, сестричка, брат, братец, сын, сынок, дочка, дядя, дяденька, тетя, тетенька* и т. п. Приведу два литературных примера.

Рядом со мной – гражданка в теплом платке. … А рядом с гражданкой – пакет. Этакий в газету завернут и бечевкой перевязан.

– **Мамаша**! – говорю я гражданке. – Гляди, пакет унесут. Убери на колени (М. Зощенко. На живца).

Сидят
　　папаши.
Каждый
　　хитр.
Землю попашет,
попишет
　　стихи

(*В. Маяковский*. Хорошо!)

В принципе, механизм этого метафорического переноса понятен: называя постороннего человека *братом*, я тем самым говорю: ‘Он мне **как** брат, и я хотел бы от нашего «словесного сближения» получить какую-то выгоду’. Прагматическая нацеленность такого словоупотребления очевидна.

Возможно, популярность обращений типа *мамаша* или *браток* также связана с уже упомянутой особенностью русского языка – с отсутствием общепринятого обращения к незнакомому человеку. Кроме слова *девушка,* в этой функции используется наименование *молодой человек*, а в последние десятилетия также *мужчина* и *женщина*, хотя все они, как известно, обладают своими недостатками.

В других социумах, в других языках могут быть свои особенности внутрисемейного общения. В частности, в польском языке сохраняется традиция обращения к старшему члену семьи в 3-м лице, с указанием его статуса:

Co **mama kupiła**? Czego **babcia się napije**? Czy **tata pamięta**, że jutro jest święto?

Это значит буквально: ‘Что мама купила?’, ‘Чего бабушка хочет попить?’, ‘Папа помнит, что завтра праздник?’. Такое формальное «устранение» адресата из диалога исторически объясняется стремлением говорящего повысить его речевой статус. Старший член семьи оказывается как бы **над** обычным общением. Напомню, что та же традиция вежливого именования собеседника в 3-м лице сохраняется уже как неосознаваемая «языковая техника» в использовании pan и pani.

Другую интересную особенность внутрисемейного общения можно продемонстрировать на материале болгарского языка. Здесь члены одной семьи вполне естественно обращаются друг к другу «по родственному статусу»: муж зовет жену *жено*, брат обращается к сестре *сестро*, младший брат к старшему брату – *батко* и т. п. У болгар также существует

семейная традиция обращения к детям с помощью названий, образованных от статуса обращающегося. Так, мать, обращаясь к ребенку, говорит ему *маминото* (или *мами* и даже *мама*), бабушка (*баба*) к тому же ребенку обращается *бабиното* (или *баби*), тетя (*леля*) – *лелиното* (или *лели*) и т. п. Тем самым ребенку постоянно напоминают, что у каждого из старших к нему – особое отношение, но он находится в центре внутрисемейных связей. Приведу пример из рассказа Ивайло Петрова «Леля се годява» («Тетя выходит замуж») и его перевод:

> Леля ни помогна да се облечем, поглади ни по главичките и ни настани зад печката.
>
> – Искате ли да ядете, **леличка**? Хайде яжте! Леля ще ви направи попарка!
>
> 'Тетя помогла нам одеться, погладила по головкам и пристроила к печке.
>
> – Есть хотите, детки? [букв.: тетины] Ну давайте ешьте! Тетя вам сделает тюрю!'

А дальше по тексту рассказа к детям обращается бабушка, и она уже называет их *бабиното*.

Известно, что собственные имена легко подвергаются **апеллятивации**, т. е. переходу в имена нарицательные. Конечно, существуют классические интернациональные образцы такого семантического переноса, вроде *донжуан* или *иуда.* Но есть и национальные апеллятивы, вроде русских *Кулибин* ('изобретатель'), *Иван Сусанин* ('провожатый или гид, заводящий в тупик'), *Павлик Морозов* ('предающий своих близких ради сомнительных идеалов'), *Матрена* (простоватая, малокультурная женщина), *Вовочка* ('испорченный мальчишка, озорник и сквернослов'; есть специальная статья А. Белоусова об этом апеллятиве), *Софья Власьевна* (зашифрованное название, криптоним: 'советская власть') и т. п. Многие из этих имен имеют литературное происхождение: *Держиморда, Обломов, Буратино* и др. (См. «Словарь коннотативных собственных имен» Е. С. Отина).

Самая частая у народа фамилия – такая как *Иванов* у русских, *Ковальски* у поляков, *Стоянов* у болгар, *Смит* у англичан, – становясь национальным символом, приобретает особую прагматическую «весомость». Но иногда возникает необходимость, наоборот, максимально опустошить имя, деконкретизовать его. Тогда можно придумать какое-нибудь искусственное образование, например *Пупкин*: это значит 'кто угодно' (своего рода фамилия-местоимение).

> ...Деятельность театрального критика все чаще сводится к тому, чтобы разгромить спектакль неведомого миру **Пупкина**, хотя ждать от этого самого **Пупкина** каких-то свершений в сущности совершенно нелепо (Известия. 2008. 26 авг.).

Для полноты картины необходимо сказать, что в сфере контактоустановления огромную роль играет экспрессивная лексика, а также место-

имения – личные, притяжательные, указательные и другие – о них пойдет речь в следующих лекциях.

И вот, несмотря на избыток средств, выражающих прагматические оттенки (а может быть, именно по причине этого избытка), говорящий иногда оказывается в затруднении: ему трудно выбрать конкретное средство. В следующей цитате герой специально избегает обращения по имени, да еще выбирает конструкцию с неопределенной формой глагола, в которой нейтрализованы разные личностные отношения к собеседнику. Он не говорит ни «забери», ни «заберите», ибо и тот, и другой вариант может усложнить отношения собеседников; он говорит: «надо забрать».

> – Надо бы Машу отсюда забрать. Я бы помог, – как всегда, **в неопределенной грамматической форме, чтобы избежать интимного «ты» и официального «вы», не называя ни Александрой Георгиевной, ни Сандрочкой**, пробормотал Иван Исаевич поздним вечером того же дня, проводив ее до дому с Котельнической набережной (Л. Улицкая. Медея и ее дети).

Теперь можно подвести некоторые итоги. Некоторые лингвисты считают, что у имени собственного нет своего значения, за ним не стоит никакого понятия – это не более чем «этикетка», приклеиваемая к единичному объекту. Функция имени собственного при таком подходе – идентифицирующая (отождествлять предмет) и дифференцирующая (отличать предмет от других предметов).

С этой точкой зрения можно поспорить. Дело в том, что у имени собственного очень слаб собственно семантический (по Ч. Моррису) аспект значения: оно, действительно, обозначает не класс предметов, а отдельный предмет. Но зато в его содержании очень велика роль прагматического компонента (который нас, собственно, и интересует). Это и позволяет с помощью собственных имен (в первую очередь антропонимов) устанавливать контакт между людьми, общаться и вообще структурировать человеческое общество.

В терминах системной лексикологии можно сказать, что в план содержания имени собственного входят немногочисленные ядерные семы, причем очень общего характера. Например, для *Сергей* – это ‘имя’, ‘мужчина’, ‘русский’, а все остальное – периферийные семы, обусловленные индивидуальным опытом общающихся (такие как ‘высокий’, ‘шатен’, ‘левша’, ‘добрый’, ‘сосед по дому’, ‘с которым мы ездили в Крым’ и т. п.).

Можно также пояснить семантическую специфику имени собственного, если различать референт и денотат (что делают, кстати, не все лингвисты). **Референт** – предмет, которому соответствует слово в речевом акте. **Денотат** – языковое обобщение класса предметов. Так, у слова *крокодил* есть денотат: это крупное водное пресмыкающееся с бугристой кожей, хищник тропических стран. А в качестве референта этого слова в

конкретных случаях может выступать также некрасивый или неприятный человек, продолговатый и неуклюжий предмет обихода, хищное существо, изделие из кожи крокодила (*Смотрите, какая сумочка! Крокодил!*) и т. п. У имен собственных есть референт, но нет денотата; в этом отношении они сближаются с местоименными словами.

Классик французской литературы Марсель Пруст в романе «По направлению к Свану» так противопоставлял друг другу обычные слова и – имена собственные:

> Слова – это доступные для понимания, привычные картинки, на которых нарисованы предметы, – вроде тех картинок, что висят в классах, чтобы дать детям наглядное представление о верстаке, о птице, о муравейнике, – предметы, воспринимающиеся в общем как однородные. Имена же, создавая неясный образ не только людей, но и городов, приучают нас видеть в каждом городе, как и в каждом человеке, личность, особь…

Прагматическая значимость имени собственного объясняет, почему оно обладает **особой грамматикой**.

Прежде всего, имя собственное практически не изменяется по числу. У него есть число (как правило, единственное), но оно оказывается для него постоянным. Вспомним, как изменяются обычные слова, имена нарицательные: *роза – розы, надежда – надежды* и т. п. На этом фоне несколько странными и маловероятными выглядят формы множественного числа имен собственных, обозначающие нескольких женщин по имени *Роза* или *Надежда*: *У нас в цеху несколько Надежд и несколько Роз*. Конечно, можно сказать, объединяя людей по фамилии *Иванов*, и *Ивановы* (*В Москве – тысячи Ивановых*), но все же такое обобщение требуется в крайне редких случаях.

В особых случаях типа *Ивановы* (‘семья Ивановых’), *Романовы* (‘царская династия Романовых’), *Иваны, не помнящие родства* (фразеологизм, означающий ‘неблагодарные люди, не желающие знать свое происхождение’), происходит приращение лексического значения: перед нами уже не новая форма, а просто **новое слово**, с другим значением (так же как в пушкинской фразе «Мы все глядим в наполеоны…» последнее слово значит ‘властелины, покорители’).

Вообще употребление фамилий во множественном числе часто приводит к снижению значения, к пейоративному или даже оскорбительному для носителей этих фамилий оттенку, см. пример:

> Но вот все двери растворились,
> Повсюду шепот пробежал:
> На службу вышли **Ивановы**
> В своих штанах и башмаках.
>
> (*Н. Заболоцкий.* Ивановы)

Ивановы здесь – это безликие и бездушные совслужащие; не случайно и фамилия-то выбрана знаковая, самая частая в русском обществе. А в следующих двух примерах используются фамилии вполне реальных личностей – поэтов, писателей, общественных деятелей, и тем уничижительней выглядит образованная от них форма множественного числа: прагматический аспект заслоняет собой номинативную функцию.

Все эти **константины симоновы и сурковы** (царствие им обоим небесное, которого они, боюсь, не увидят) – это не о национальной трагедии, не о крушении мира: это все больше о жалости к самому себе (С. Волков. Диалоги с Иосифом Бродским).

Отчасти это объясняется тем, что идеология шестидесятничества, столь ярко выразившаяся в поэзии **евтушенок, вознесенских, рождественских,** только в Москве, где слышнее запах из кремлевских буфетов, и могла иметь успех (Н. Коняев. Путник на краю поля).

Аналогичное явление можно наблюдать и в других славянских языках. Пример из польской литературы.

Kiedy czytam: «strategia **Bujaków, Frasyniuków, Mazowieckich**», zdaje mi się, że sięgnąłem po «Żołnierza Wolności» z 1983 roku, bo wtedy prasa używała tych samych zresztą **nazwisk w liczbie mnogiej** (M. Głowiński. Polska jabłoń demokracji).

Здесь автор говорит, что воспринимает употребление фамилий польских политиков *Буяк, Фрасынюк, Мазовецки* во множественном числе как возврат к временам тоталитаризма – именно «тогда пресса употребляла эти фамилии во множественном числе».

Любопытно, что в других языках апеллятивация во множественном числе может закрепляться словообразовательно, с помощью суффикса, ср. болг. *Наполеон – наполеоновци* (собирательное понятие: ‘наполеоны’), *Гаврош – гаврошовци, Робинзон – робинзоновци, бай Ганю – байганювци* и т. п.

Кроме того, хотя и редко, у имени собственного могут наблюдаться отклонения в падежной парадигме: ср. форму родительного падежа имени нарицательного *любовь – любви* и женского имени *Любовь – Любови*. Отдельные словообразовательные типы русских фамилий просто не склоняются: таковы фамилии на *-ых* (*Седых, Красных*), *-аго* (*Бураго, Живаго*), *-ко* (*Григоренко, Павленко*).

В тех языках, в которых сохранилась особая звательная форма (например, в украинском), личное имя охотно принимает эту форму, ср. укр. *Галю, Миколо, Остапе, Федоре Олексійовичу* и т. п., в отличие от имен нарицательных, для которых такие образования менее естественны, а иногда и невозможны.

Интереснейшая особенность личных имен представлена в болгарском. Здесь разговорные имена (*Васка, Борка, Ленче, Анче, Васенце* и т. п.) принимают на себя постпозитивный артикль (образуя так называемую членную форму: *Васката, Борката, Ленчето, Анчето, Васенцето*), что в целом для имен собственных не характерно. Присоединение артикля свойственно также прозвищам: *Щастливеца, Шивача, Казака, Шилото, Жабата* и т. п. И в том, и в другом случае артикль, очевидно, способствует индивидуализации предмета (в данном случае человека).

Прагматическая ценность имени собственного не исчерпывается перечисленными фактами. За пределами нашего внимания остался, в частности, такой культурный феномен, как смена человеком имени или фамилии. Причины этого могут быть различны, но очень часто это знак того, что человек становится другим. При постриге в монахи человек отрекается от своего мирского имени и фамилии: он начинает новую жизнь. Выходя замуж, женщина очень часто принимает фамилию мужа, и это тоже знаковый поступок. Выбор литературного псевдонима также преследует определенные цели: писатель либо недоволен своей истинной фамилией (она недостаточно благозвучна и т. п.), либо он хочет скрыть от публики свое лицо и т. п. В общем, как сказал поэт,

Быть может, с фамилией новой
Судьба моя станет иной,
И жизнь потечет по-другому,
Когда я вернуся домой

(*Н. Олейников.* Перемена фамилии)

ЛЕКЦИЯ 3

ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ

Местоимения вообще очень своеобразный и непростой в описании класс слов. Среди лингвистов ведутся постоянные споры о том, обладают ли местоимения лексической семантикой и, в соответствии с этим, где их следует описывать – в лексике (словаре) или в грамматике. Дело в том, что в плане содержания у местоимений фактически отсутствует денотативный компонент, а референтная отнесенность, несомненно, есть (вспомним в связи с этим, что говорилось в прошлой лекции об именах собственных). «Местоимения ничего не называют (не именуют); они означают смыслы, восходящие к глобальным понятиям материального и духовного мира, углубляют, дифференцируют, сопоставляют и сочленяют эти смыслы» (Н. Ю. Шведова, 1998). Вся их роль сводится, казалось бы, к **дейксису** (указанию), **субституции** (замене полнозначного слова) и **анафоре** (отсылке к уже сказанному). Эти три компонента (с разным соотношением у разных типов местоимений) и определяют содержание данного класса слов.

Действительно, местоимения не зря называются «(в)место-имениями»: их семантика максимально опустошена, выхолощена. Можно спросить: «Кто это – *он*? Какой это – *тот*? Что значит – *свой*?» И в ответ придется только пожать плечами. Но это пустое пространство (по выражению Эмиля Бенвениста) тут же заполняется многообразными прагматическими оттенками. Местоимения – чрезвычайно важный и богатый в прагматическом отношении класс слов! Наибольший интерес в данном плане представляют разряды личных, притяжательных и указательных местоимений. Начну с первых из них.

Личные местоимения расставляют ориентиры, необходимые для совершения речевого акта. Они обязательно есть во всех языках. 1-е лицо, «я» – это говорящий и всё, что с ним связано, 2-е лицо, «ты» – адресат



Кадр из фильма «Осенний марафон»

(слушающий) и его сфера. А 3-е лицо – это все **некто и нечто**, люди и предметы, которые непосредственно не участвуют в диалоге. Расстановка этих вех важна прежде всего в собственно коммуникативном плане: чтобы было ясно, кому какая роль отводится в микроколлективе. Вот конкретные ситуации из пьесы Александра Володина «Осенний марафон».

К профессору-филологу Бузыкину, у которого как раз гостит английский коллега, заявляется сосед по дому. Но, выставив на стол бутылку, сосед уже чувствует себя хозяином.

Бузыкин. Василий Игнатьич, мы пас, у нас работа.
Сосед. Работе не помешает. Русская водка, **им она нравится**.

«Им» – это иностранцам. Но поскольку один из «них» как раз и присутствует при разговоре, то реплика соседа адресована и ему: это косвенный уговор выпить со ссылкой на общественное мнение. И далее структура диалога тоже регулируется с помощью личных местоимений.

Сосед. ...Ты, Палыч, все спишь, лентяй, съездил бы за грибами. Поллитра купил, стопку водки выпил, и один грибочек. И жена у тебя тоже не ходит за грибами. Плохо **он воспитывает** свою жену. Я тебе, Палыч, при госте говорю.

Здесь неожиданная смена грамматического лица в монологе (*ты, ты, ты, у тебя*… и вдруг *он*!) означает временное переключение на другого адресата – иностранного гостя.

«Я» и «ты» – естественные способы идентификации участников речевого акта. Но в некоторых ситуациях они оказываются недостаточными – например, при отсутствии визуального контакта (в письменном тексте) или при желании говорящего подчеркнуть, уточнить свой статус. В таком

случае местоимение 1-го лица может сопровождаться существительным-приложением, называющим говорящего: *Я, Иванов П. Н., заявляю о том…; Я, ваш президент, обещаю вам…*и т. п.

Пример из знаменитого романа-антиутопии Евгения Замятина «Мы»:

Я, **Д-503, строитель Интеграла**, – я только один из математиков Единого Государства.

Характерно, что приводимое здесь имя – *Д-503* – не намного информативнее, чем «я» говорящего: это тот номер, который присваивают каждому гражданину тоталитарного общества. Поэтому далее следует еще одно уточнение: *строитель Интеграла* (фантастической машины или системы, определяющей жизнь утопического государства).

Другим, уже почти афористическим примером может служить диалог Винни-Пуха и Кролика и из сказки А. Милна «Винни-Пух и все-все-все» (в пересказе Б. Заходера):

– Будьте так добры, скажите мне, пожалуйста, куда девался Кролик?

– Он пошел в гости к своему другу Винни-Пуху. Они знаешь какие с ним друзья!

Тут Винни-Пух прямо охнул от удивления.

– Так ведь **это же я**! – сказал он.

– **Что значит «я»? «Я» бывают разные**!

– Это «я» значит: **это я, Винни-Пух**!

В этом диалоге семантически пустое «я» (*«Я» бывают разные!*) благодаря контексту наполняется конкретным содержанием: *я, Винни-Пух*. Но мы чувствуем, что за этой семантизацией стоят дополнительные – прагматические – оттенки: удивление или даже обида Винни-Пуха: его друг не узнал его, не опознал по голосу, не ждал в гости и т. д.

Местоимение 1-го лица единственного числа *я* выступает не только как средство объективной идентификации говорящего. Оно также важно и в психологическом, и в аксиологическом (оценочном) плане.

Психологически «я» находится в одном ряду с такими точками отсчета, как «здесь» и «сейчас». Это изначальные, априорные ориентиры познания, и понятно, что они связаны с коммуникативной деятельностью. Казалось бы, современный человек хорошо ориентируется в пространстве. Этому служат разные средства: указатели, карты, схемы, глобусы, измерительные инструменты… На деле же человек придерживается некоторых архаических, прототипических ориентиров, один из которых – «я»: это своего рода пуп вселенной. «Я» осознается в противопоставлении «не-я», так же как «здесь» – в противопоставлении «не-здесь», «сейчас» – в оппозиции к «не-сейчас». Иными словами, «я» находится в центре **личной сферы говорящего**. Термин этот был введен швейцарским ученым Шар-

лем Балли (Ch. Bally), а в последние годы активно используется российскими лингвистами. Личная сфера – это ментальное пространство, в которое входит говорящий и всё, что ему близко – физически, интеллектуально, морально и эмоционально. Словам, входящим в личную сферу говорящего, например названиям родственников или частей тела, свойственны некоторые особенности синтаксического поведения (о которых еще будет идти речь).

Личная сфера изначально оценивается говорящим положительно: как правило, ‘то, что связано со мною, – хорошо’. Поэтому, например, русские высказывания, включающие в себя форму *у меня*, легко допускают в своем составе слова с положительной оценкой. Можно сказать: «Ты **у меня** умница», «Ты **у меня** смелый мальчик», «Она **у меня** красавица…». Но эта форма *у меня* плохо сочетается с отрицательной оценкой того, о ком идет речь. И даже если такие сочетания возможны, то негативная их коннотация смягчается, нейтрализуется (например, в высказываниях о ребенке или другом близком человеке): *Ты у меня недотепа*; *Ты у меня трус*; *Она у меня лентяйка* и т. п. И это тоже реализация прагматических – в данном случае аксиологических – оттенков.

Человеку свойственно организовывать мир вокруг себя по законам наивного эгоцентризма. «Я» – это центр его микромира, и недопустима даже сама мысль о возможности замены одного «я» на другое. Это наглядно проявляется в обмене конфликтогенными репликами в ситуации возмущения: «Кто, я?» – «Нет, я!» (с издевательской интонацией). Пример из художественной литературы:

Юра. Ты все так можешь забыть: чайник кипящий, газ, свет выключить. Ключи забыла! Надо же!

Галя. Я?

Юра. **Нет, я.**

Галя. Я не забывала.

Юра. **Я** забыл.

Галя. Я просто не хотела вас пускать (Л. Петрушевская. Лестничная клетка).

Иногда субъект коммуникации ведет сам с собою внутренний диалог. В таком случае говорящий как бы раздваивается, его поступки проецируются на другого возможного субъекта. Так, в «Записках сумасшедшего» Н. В. Гоголя рассказчик постоянно обращается к самому себе. Причем от начала этого литературного произведения к концу степень неадекватности героя постепенно увеличивается. Но еще до того, как наступает полный распад личности, наступает ее раздвоение:

«Эге! – сказал я сам себе, – да полно, не пьян ли я? Только это, кажется, со мною редко случается»… «Пойду-ка я, – сказал я сам себе, – за этой собачонкою

и узнаю, что она и что такое думает»… «Этот дом я знаю, – сказал я сам себе, – это дом Зверкова» и т. п.

Еще интереснее случаи, когда ситуация описывается одновременно с нескольких точек зрения – самого говорящего и некоего третьего лица. Результатом такой «стереоскопии» в русском языке являются конструкции с *вот он я, вот она я* (их дополнительный прагматический оттенок – реальность, противоречащая ожиданиям):

…Каждым движением она словно говорила: **вот она я**, и что это со мной происходит в вашем присутствии, будто голова у меня кружится, и такая слабость в ногах? (Е. Козырева. Дамская охота).

Здесь мы имеем, с одной стороны, *вот она* (взгляд извне), а с другой – *вот я* (автопредставление). Еще более демонстративно представлен взгляд на себя «со стороны» в следующем тексте. Тут явно нарушены элементарные правила согласования, но постмодернистские авторы позволяют себе и не такие фокусы:

Я был веселая фигура
А стал молчальник и бедняк
Работы я давно лишился
Живу на свете кое-как […]
Зато я никому не должен
никто поутру не кричит,
и в два часа и в полдругого
зайдет ли кто – а **я лежит**

(*Э. Лимонов.* Я был веселая фигура…)

Любопытно, что если бы «я» здесь было по договоренности названием (именем) некоторого человека («зайдет ли кто – а некто “Я” лежит»), то никакого нарушения норм не было бы, а заодно исчезла бы искусственно создаваемая стереоскопия. Но в последовательном ряду форм 1-го лица (*я был, живу, я не должен…*) сочетание *я лежит*, несомненно, рассчитано на то, чтобы ошеломить читателя.

Если говорящий хочет как бы представить себя со стороны, чужими глазами, то есть «объективизировать» свое «я», то возникают контекстуальные замены местоимения 1-го лица существительным, ср. пример:

Родная Наденька!… Целую тебя, мой вечный и ясный друг. Увижу тебя скоро, увижу и обниму. **Твой муж** (из письма Осипа Мандельштама Надежде Мандельштам).

Почему «твой муж», а не «я» или «Осип»? То ли это напоминание о статусе говорящего по отношению к адресату (с позиций общества), то ли вообще так называемая эмпатия – стремление говорящего психологически перейти на точку зрения собеседника.

Другой пример – из письма Бориса Пастернака отцу, художнику Леониду Осиповичу Пастернаку:

Милый папа, это письмо пишет **ничтожество**.

Ничтожество пробыло в Перми три дня, потратив при современной дороговизне массу денег (не на покупки, на проживье). Ты не можешь себе представить, папа, до какой степени верно и подходит то определение, которое я себе тут даю. Видишь ли, **ничтожеству** страшно хочется перед тем, как к вам возвращаться, повидать Надежду Михайловну и с ней из Самары до Нижнего на пароходе поехать, – ему очень этого хочется, и больше того, оно, **ничтожество**, знает, что там, где начинается осуществление его желаний, **ничтожество** перестает существовать и на его место вступают радостно и свободно реализующиеся задатки, **ничтожеством** придушенные. Но вместо этого, по всей вероятности, **ничтожество** предпочтет несамостоятельный, удобный и привычный шаг: поскорее к старшим.

Любопытно, что в приведенном отрывке слово *ничтожество*, употребимое по отношению к лицам обоих полов (по-русски можно сказать: *он – ничтожество; она – ничтожество*), демонстрирует свой средний род: *оно, ничтожество*. Тем самым говорящий не просто смотрит на себя чужими глазами, он идет на поводу у грамматики и приравнивает себя к неодушевленной вещи! Но насколько искренне Пастернак называет себя так уничижительно? Думаю, что вряд ли поэт в реальности столь низко оценивал себя, свои поступки. Скорее он стремится сблизить свою позицию с позицией отца, «подставиться», оценить события «его глазами». Это та же самая эмпатия – шаг навстречу собеседнику в трактовке ситуации.

Как известно, письменной научной или публицистической речи свойственна этическая замена «я» на «мы» или на описательные наименования типа *автор, пишущий эти строки, нижеподписавшийся, корреспондент* и т. п. Ср. контексты: *мы принимаем точку зрения..., автор считает, что...* и т. п. Пример из журнальной публикации:

Символы дисциплины у каждого свои. [...] У Андрея Богданова, как утверждают в штабе, для общения с нерадивыми сотрудниками имеется меч. Сам **корреспондент** не видел, но, говорят, нормальный такой меч. Масонский (Огонёк. 2008. № 4; *корреспондент* – это пишущий о себе).

В высоком стиле общения встречается обозначающее говорящего выражение *ваш покорный слуга* (часто с ироническим оттенком), ср.:

– А кто из милиции приходил в кафе «Манеръ»? – все же пробормотала я.

– **Ваш покорный слуга**, – раскланялся полковник (Д. Донцова. Бенефис мартовской кошки).

Для представителей власти – военной, политической, судебной – чрезвычайно характерны высказывания типа *Командир лучше знает*

(вместо *Я лучше знаю*), *Президент контролирует ситуацию* (вместо *Я контролирую ситуацию*), *Суд удаляется для принятия решения* (вместо *Я удаляюсь для принятия решения*). Это способ вербального поддержания (и повышения) их социального положения. Прагматический аспект здесь заключается в замене «я» на субстантивную номинацию с целью подчеркнуть социальный статус говорящего. Не «я», а «командир», не «я», а «суд» – понятно, что это звучит более солидно, более ответственно, более официально.

Любопытно, что для еще одной особой ситуации – общения по телефону – в русском речевом этикете существует стандартная фраза, в которой говорящий представляется как 3-е лицо: *Вас беспокоит Иванов* (вместо *Вас беспокою я*), а также *Это вам звонит Иванов* или *С вами говорит Иванов*. Это обоснованно, потому что голос, тем более в телефонной трубке, – недостаточный признак для идентификации личности. Но, замечу, такое 3-е лицо допустимо только для начальной фразы, в дальнейшем разговоре оно заменяется на обычное 1-е лицо.

Местоимение 1-го лица единственного числа и личные формы глаголов, обозначающие говорящего, практически не используются в переносных значениях. Впрочем, встречаются контексты, в которых «я» выступает как представитель некоторой общности (а кроме того, возможно расщепление на «я» социальное и «я» индивидуальное или же на автора, рассказчика, медиатора и т. п.). Приведу на сей раз пример из польской газеты:

> – Takiej reklamy nie moglibyśmy nawet wymarzyć – mówi. **Pojawiłem się** we wszystkich dziennikach, razem z logo i nazwą. **Ja to znaczy firma** (Gazeta Wyborcza. 1999.12 kwietnia).

Перевод: ‘О такой рекламе мы бы не могли даже мечтать. Я появился во всех журналах, вместе с логотипом и названием. Я – в смысле фирма’. Этот пример интересен еще и в том плане, что в первом предложении личное местоимение вообще не было названо: 1-е лицо с достаточной определенностью было обозначено глагольной формой (pojawiłem się). Но затем следует пояснение, конкретизация этого 1-го лица: «Ja to znaczy firma».

Чрезвычайно любопытна появившаяся в русском Интернете (чатах и т. п.) жаргонная форма 1-го лица единственного числа *мну*, одинаковая для всех падежей с предлогами и без, например: ***Мну** вернулся…*; ***Мну** наплевать на все это…*; ***У мну** завтра бездик* (‘день рождения’)…; ***Со мну** никто не хочет дружить…* и т. п.

По своему происхождению это ошибочная форма в устах человека, плохо говорящего по-русски (из анекдота):

За девушкой в очереди стоит грузин. Осторожно трогает ее за плечо:
– Девушка, на вам муха!
– Не на вам, а на вас!
– На мну?
– Не на мну, а на мне!
– Так я и говорю, что на вам!

Но для современной речевой действительности *мну* – прагматически насыщенный неологизм. Для определенной группы пользователей Интернета это своего рода пароль, говоря по-научному – маркер социолекта. (По аналогии с ним появляется и неизменяемое местоимение 2-го лица *тбу*.) *Мну* уже встречается не только в компьютерной переписке, но и в жаргонной устной речи (О. С. Горицкая), и это тем более любопытно, что местоимения в принципе – весьма древняя и «непроницаемая» каста слов: новых местоимений не должно появляться. В то же время известно, что супплетивные формы, типа *я – меня – мне...,* представляют собой для языков своего рода исключение, и за пределами литературного стандарта (в просторечии, жаргонах и т. д.) язык стремится эту «неправильность» исправить. В частности, в американском просторечии форма косвенного падежа личного местоимения 1-го лица me пытается вытеснить своего партнера по супплетивной парадигме I: появляются конструкции типа Me know 'я знаю'. На этом фоне и *мну* выглядит не так уж странно…

Обратимся теперь к функционированию в речи личного местоимения **2-го лица единственного числа.** О том, что его прямое и естественное назначение – обозначать адресат, речь уже шла. Но примеры с *ты* дают нам массу случаев употребления местоимения в переносных значениях. Чаще всего переносное значение формы 2-го лица единственного числа связано с обобщением субъекта. Под маской адресата сообщения выступает, по сути, любой человек, в том числе и сам говорящий. Однако поскольку это явление реализуется и в отсутствие личного местоимения – глагольные формы самодостаточны для выражения обобщенного субъекта, – то мы обратимся к нему в лекции, посвященной глаголу.

Здесь же хотелось бы обратить внимание на такое, казалось бы, странное явление, как контекстуальная замена местоимения *ты* существительным или местоимением *он*. Обозначение собеседника через 3-е лицо должно в принципе вести к его отстранению, элементарному удалению из состава участников речевого акта. Но на деле ситуация сложнее.

Говорящий может прибегать к такому приему, во-первых, чтобы «объективизировать» свое мнение. В таком случае речь уже идет как бы не о собеседнике, а о ком-то третьем, и оценка ему дается как бы со стороны. Вот пример: открытое письмо иностранному ученому, опубликованное в газете.

Уважаемый Леон! Мы знакомы, наверное, лет пятнадцать. С тех времен, когда в Россию из-за океана **стали приезжать умные, милые люди**. **Советовали. Сопереживали. Сочувствовали**. **Один**, помню, **даже отчаялся**. Зря, **говорит**, стараетесь (Известия. 2008. 6 авг.).

Здесь 3-е лицо глагольных форм, согласующихся с существительным *люди* и местоимением *один*, везде имеет в виду собеседника: это ‘ты, среди прочих, приезжал’, ‘ты советовал’, ‘ты отчаялся’.

Во-вторых, замена местоимения *ты* существительным встречается тогда, когда это существительное содержит яркую оценочную окраску. В таком случае оно скорее всего обращено к собеседнику и «поглощает» собой местоимение:

Да вот беда: сойди с ума.
И страшен будешь, как чума,
Как раз тебя запрут,
Посадят на цепь **дурака**
И сквозь решетку, как зверка,
Дразнить тебя придут.

(*А. С. Пушкин.* Не дай мне бог сойти с ума)

«Посадят на цепь дурака» – это кого: «дурака»? Имеется в виду: ‘тебя, дурака’! Еще пример, уже из новейшей литературы:

Ты один не умывался
И грязнулею остался,
И сбежали **от грязнули**
И чулки, и башмаки.

(*К. Чуковский.* Мойдодыр)

И опять-таки: «сбежали от грязнули» – это от кого, «*грязнули*»? Имеется в виду: ‘от тебя, грязнули’! Экспрессивные наименования человека вообще ведут себя в речи не совсем так, как нейтральная лексика. Но примеры, подобные приведенным, заставляют задуматься: так ли уж всегда привязаны именные номинации к 3-му лицу? Сравним с только что приведенными еще один пример:

– Парень, ты все-таки на меня сердишься, да? Извини дурака (А. Слаповский. Я – не я; здесь *дурака* – это явно ‘меня, дурака’).

Оценочные наименования человека легко занимают предикатную позицию и в этом уподобляются глаголам. (Замечу, что в некоторых языках существительное вообще может спрягаться по лицам, принимая соответствующие окончания.)

Наконец, в-третьих, замена 2-го лица на 3-е может носить авторский, окказиональный характер. Речь идет о текстах, в которых намеренно на-

рушаются правила человеческого общения – и прагматическая подоплека такой игры очевидна. Так, в повести В. Нечаева «Последний путь куда-нибудь» пациент психобольницы, обращаясь к своему сопровождающему, регулярно обозначает его как «он»:

– А как **он думает**? (‘А как ты думаешь?’) […] Он **не может простить** своей жене, что у нее ребенок **не от него**, а от первого мужа (‘Ты не можешь простить, что ребенок не от тебя…’) и т. п.

И на возмущенное «Говори мне ты!» поясняет, что по-другому он не может: «На *вы* – незаслуженно, а на *ты* – не могу. Язык не поворачивается. “Ты” можно сказать брату, другу, врагу. С кем меня связывает что-то существенное и личное. А нас связала только оказия».

Таким образом, перед нами своего рода языковая игра, риторический прием. Впрочем, в других языках такая транспозиция может быть узаконена и превратиться в элемент языковой «техники». В частности, в польском замена местоимения 2-го лица существительным (и речь не идет о словах pan, pani) в некоторых ситуациях является обязательной – об этом речь пойдет позже.

А в русском имеется еще один способ обозначения собеседника через 3-е лицо: это устойчивые выражения *ваша милость, ваш брат*. Если человек говорит, например: «По вине вашей милости мы опоздали на поезд», то он сразу обнаруживает не только свой образовательный ценз, но и немолодой возраст. Точно так же *ваш брат* (понимаемое широко: ‘ты и такие, как ты’) содержит свой прагматический оттенок: пренебрежения, недоверия, недовольства, ср.:

…Перед ними царский солдат стоит и пытается к столику присесть. А его хозяин из-за столика выбивает и не дозволяет сесть.

– Нету, – кричит, – **вашему брату солдату** не дозволено в трактирах за столики присаживать (М. Зощенко. Счастье).

Для обозначения адресата в русском языке, как известно, используется не только местоимение *ты*, но и «вежливое» местоимение *вы*. Такое явление известно и многим другим европейским языкам. Морфологически «вежливое» *вы* совпадает с *вы* «множественным», но некоторые различия обнаруживаются в сочетаемости, ср. примеры:

У вас самого *проблем хватает* («вежливое» *вы*) и

У вас самих *проблем хватает* («множественное» *вы*).

Психологически такое развитие значения объяснимо: при «вежливом» общении адресат как бы приравнивается группе лиц, что повышает его коммуникативный статус. Возможное историческое подтверждение ученые находят в том, что в Римской империи в начале I тысячелетия имело место разделение власти между несколькими правителями, и использо-

вавшаяся в документах форма 1-го лица множественного числа *nōs* со временем стала стандартной для монархов. Реакцией на «царское» самоназвание *мы* стало «вежливое» *вы* при обращении к правителям и высокопоставленным особам.

Однако отношения между «ты» и «вы» при обращении к собеседнику в современном русском языке не так уж просты. «Ты» символизирует демократичность, равенство собеседников, «свойскость», интимность общения и т. п. «Вы» – вежливость, любезность, соблюдение дистанции, в том числе иерархической. Но демократичность легко переходит в грубость и хамство, а вежливость – в холодность и отчужденность. Поэтому во многих случаях люди, разговаривающие по-русски, должны нащупать эту тонкую грань и выбрать удобную для них форму общения. Несколько иллюстраций:

– Что ты наконец прицепилась **ко мне** со своим Толстым?
– Я **к тебе** прицепилась с Толстым? Я? Я **к вам** прицепилась с Толстым? Коля **тоже перешел на «вы»** (И. Ильф, Е. Петров. Двенадцать стульев).

Нарастающий между молодыми супругами конфликт усиливается переходом с естественного «ты» на вежливо-официальное «вы».

Зачем **мы перешли на «ты»**?
За это нам и перепало
Чуть-чуть любви и простоты,
А что-то главное – пропало.

(*Б. Окуджава.* К чему нам быть на «ты», к чему?)

Отношения на «вы» символизировали для влюбленных некоторые романтические чувства и деликатность отношений. С переходом на «ты» все упростилось… Еще пример.

– Слушай, Нина, ты не больна? У тебя вид ну никакой…

Прежде они были на «ты», но теперь Нина старалась при разговоре строить фразу грамматически неопределенно, чтобы никак не обозначать их новые служебные отношения. Слишком давно они были знакомы, чтобы переходить обратно на «вы».

– Всё ничего. Бессонница у меня (Л. Улицкая. Зверь).

Грань «ты/вы» оказывается очень деликатной, и говорящий, как мы видим, вынужден искать какие-то формы выражения, позволяющие ее обойти.

И еще один пример, из журнальной статьи по поводу интеллектуальной собственности на сказочное создание *Чебурашка*: в ней автор сильно возмущен позицией писателя Эдуарда Успенского (требующего отчислений за использование этого имени) и срывается с «вы» на «ты», равноценное в этом контексте оскорблению *гад*.

> «И долго буду тем любезен я народу», – писал А. Пушкин. Интеллектуальная собственность принадлежит всем нам. А **вы**, Э. Успенский, народу не любезны, потому что **думаешь** только о своих доходах, **гад!** (Огонёк. 1995. № 5–10).

Заслуживает внимания словесный стиль руководства государственных деятелей в бывшем СССР и в современных странах – наследницах Советского Союза. Очень многие руководители «тыкают» не только своему ближайшему кругу, но и своим подчиненным – так возникает асимметричное общение: «сверху вниз» – *ты*, «снизу вверх» – *вы*. Это может расцениваться по-разному, но с социолингвистической точки зрения это нарушение вежливости. По наблюдениям одного публициста, переход с «ты» на «вы» в устах привыкшего «тыкать» руководителя может даже означать прямую угрозу.

В каждом из славянских языков распределение сфер «свойского» и «вежливого» обращения подчиняется своим нормам. Скажем, в польском языке, при широко распространенном вежливом обращении-именовании Pan, Pani, Państwo, обращение на Ty ‘ты’ также сохраняет свои позиции. Например, Ty довольно часто встречается в публичной рекламе: «Bank, który myśli o Tobie»; «Jesteśmy tam, gdzie Ty jesteś» и т. п. (перевод: ‘Банк, который думает о тебе’; ‘Мы там, где находишься ты’) – русской рекламной традиции это несвойственно. С другой стороны, употребление Pan носит условный, конвенционально-языковой характер и вовсе не свидетельствует об искреннем уважении к собеседнику. В польском возможно и такое сочетание, как, скажем, Pan jest draniem! – ср. рус. ***Вы** негодяй!*

Надо сказать, что ситуация с употреблением *ты* и *вы* в русском языке очень динамична. Демократизация отношений в обществе приводит к постепенному стиранию этих различий, причем в пользу формы единственного числа. В интернет-общении (на форумах, в чатах и т. п.) *ты* – господствующая форма обращения, в том числе к незнакомым людям. Если кто-то здесь обращается на «вы», тут же становится ясно: это «чужой», случайный человек.

Особый интерес представляет **дублирование значения лица** говорящего и собеседника в глагольной форме и местоимении (*Я считаю, Ты знаешь* и т. п.). Во многих славянских языках нормой является употребление личной глагольной формы 1-го или 2-го лица без сопровождающего ее местоимения: она с должной ясностью передает значение лица. Например, по-польски достаточно сказать: myślę ‘я думаю’, czekam ‘я жду’, wiesz ‘ты знаешь’. То же самое – в чешском, словацком, болгарском, сербском и др.

Понятна ситуация в других языках, например в английском: там, наоборот, присутствие личного местоимения необходимо, потому что в

большинстве случаев сам глагол лица не выражает (*I think, You think, We think…*). Что же касается русского языка, то он, как известно, обладает богатой системой словоизменения, в том числе глагольного. Тем не менее стилистической нормой для него является употребление личного местоимения при глаголе (*я думаю, ты знаешь*). Как это объяснить?

Во-первых, язык вообще не столь логично устроен, как кому-то хотелось бы. Сплошь и рядом встречаются ситуации, когда одно и то же значение несколько раз повторяется в тексте, даже в рамках одного и того же предложения. Например, сколько раз выражено значение мужского рода в высказывании *Ученик Коля Иванов забыл принести задание*? Четырежды! И в принципе такая избыточность выражения служит более надежной передаче информации.

Но есть и второе объяснение, прямо относящееся к русскому языку. Оно связано с развитием форм прошедшего времени на *-л*. Исторически это были причастия, которые соединялись с глагольной связкой, выражавшей лицо и число, но затем эта связка утратилась: *я думал, ты думал, он думал*. При таких формах личное местоимение – необходимый показатель лица. А затем по аналогии эта особенность распространилась и на другие глагольные формы: *я думаю, ты думаешь, он думает*. В других же славянских языках – польском, чешском, болгарском и т. д. – связка в составных формах прошедшего времени сохранилась и употребление личного местоимения оказалось не так необходимо.

Впрочем, надо сказать, что в **повелительном наклонении** (императиве) в русском языке дело обстоит иначе: здесь при личной глагольной форме местоимение нормально **не** употребляется: *смотри, подожди, не забывай* и т. п. Если здесь личное местоимение все же употреблено (*ты подожди, ты не забудь, ты только не отвлекайся* и т. п.), то это как раз свидетельство дополнительного оттенка, который говорящий придает своему приказанию или просьбе (оттенки интимизации диалога, переключения на другую тему и т. п.). Некоторые исследователи (в частности В. В. Химик) отмечают функциональную близость местоимения в таких контекстах к частицам. Пример:

– Сядь, Ира. Надо поговорить.
– Что-нибудь случилось? – переполошилась Ирочка.
– Да. Да **не бледней ты**, не смертельно. Просто немного неожиданно (А. Маринина. Имя потерпевшего – никто).

Перейдем теперь к 3-му лицу. **3-е лицо единственного числа** личного местоимения (*он, она, оно*), не связанное участием в диалоге и концентрирующее в себе анафорическую функцию, оказывается в понятийном плане максимально опустошенным. В одной из новелл Александра Грина

герой останавливает человека, который собирается покончить с собой, возгласом: «Она вернется!» И затем поясняет:

> Я крикнул первое, что мне пришло в голову. Позвольте подумать. «Она» – это может быть прежде всего, конечно, та женщина, которой вы пленились так давно, что у вас успела вырасти борода. Быть может также, «она» – бутылка виски или сбежавшая лошадь. Если же вы лишились уверенности, то знайте, что это и есть самая главная «она» (Слабость Даниэля Хортона).

Правда, *она* содержит сему женского рода, и потому при переводе на другие языки здесь наверняка возникли бы трудности (скажем, по-английски о женщине надо сказать she, а о бутылке или об уверенности – it). Но сама идея денотативной пустоты местоимения выражена здесь хорошо.

Поэтому неудивительно, что русский речевой этикет не рекомендует говорить «он» по отношению к человеку, присутствующему при разговоре и могущему услышать эти слова: тем самым этот человек коммуникативно устраняется из общения (скрытый смысл: ‘Отойди, с тобой тут никто не разговаривает’). Правила этикета говорят: если этот человек – не «ты», т. е. не собеседник, то его следует **именовать** – называть его именем существительным (нарицательным или собственным). Вообще взаимоотношения личного местоимения и имени образуют, как мы уже видели, прагматически очень богатую сферу. Приведу литературный пример, разговаривают три женщины:

> – Я с тобой не желаю разговаривать ...
> – Ах, не желаешь? Ничего я у тебя не требовала.
> – Ирина, не огрызайся. Пойди в комнату, дай нам поговорить.
> – Ага, я пойду, а **она** тут будет врать…
> – Слышите? «Она», «врать»… (Ю. Трифонов. Другая жизнь).

Здесь «она», сказанное о присутствующей, воспринимается так же плохо (оскорбительно), как упрек во лжи («врать»). Понятно, что такое «он», «она» может вырваться случайно, неосознанно, но может быть употреблено и сознательно – с целью увеличить дистанцию и в конце концов спровоцировать конфликт. Еще пример, из мемуаров жены Осипа Мандельштама:

> Пастернак […] говорил о вещах простых […] Я вдруг подняла голову и сказала: «Единственная в мире страна, которая справилась с рабочим движением…» Пастернак вздрогнул, как мне показалось, от отвращения, и спросил Мандельштама: «Что она там говорит?» Я точно помню, что он сказал обо мне **в третьем лице**… (Н. Мандельштам. Вторая книга).

В следующем примере говорящий, обозначая своего собеседника через 3-е лицо, подчеркнуто выражает свое недовольство им, возмущение

(форме 3-го лица в таком случае помогает соответствующая «издевательская» интонация):

Я говорю:
– Мне бы, говорю, просто сняться, как я есть. Чтоб было на что глядеть.
Фотограф говорит:
– Ах, **ему** еще глядеть нужно. **Его** же сняли, и **он** еще на это глядеть хочет. Капризничает в такое время. Дефекты видит… Нет, я жалею, что я вас так прилично снял… (М. Зощенко. Фотокарточка).

Говорящий здесь обозначает собеседника через 3-е лицо («он» вместо «вы»), выводя его за пределы диалога, как бы поворачиваясь к нему спиной. При этом он апеллирует к высшим силам, к общественной справедливости: 'Смотрите, какой нахал: ему нужно, чтобы на фотографии он был похож на себя!' Но любопытно то, что в то же время говорящий и себя выражает через форму 3-го лица множественного числа («они» вместо «я»: *сняли*). Получается максимальная «десубъективизация» ситуации, какой-то театр абсурда!

Аналогичную картину мы наблюдаем в следующем диалоге из пьесы Михаила Булгакова «Иван Васильевич»:

Иоанн. Э, да ты не уймешься, я вижу… Что в вас, в самом деле, бесы вселились?.. (*Вынимает нож*.)
Шпак. Помогите!.. **Управдом жильца режет**!..

Здесь говорящий и слушающий из субъектов речевого акта становятся как бы его объектами (темой). Высказывание «Управдом жильца режет» вместо «Ты меня режешь» объективизирует и обобщает ситуацию, представляя взгляд на нее как бы извне, «сверху».

Добавлю здесь, что собеседник может быть обозначен также с помощью формы 3-го лица множественного числа (так называемой неопределенно-личной формы); в таком случае 3-е лицо опять-таки выводит его за пределы речевого акта, а множественное число обобщает действие и расширяет до некоторых размытых всеобщих пределов. Вот Буратино разговаривает с жуликами, лисой Алисой и котом Базилио:

Буратино даже подпрыгнул:
– Врешь!
– Идем, Базилио, – обиженно свернув нос, сказала лиса, – нам **не верят** – и не надо… (А. Толстой. Золотой ключик, или Приключения Буратино).

Здесь выражение «нам не верят» употреблено вместо «ты нам не веришь» или «он нам не верит».

Случается, что в речи упоминаются **два** человека, не участвующие в диалоге. Тогда возникает необходимость их упорядочения, ранжирования, и наряду с обычным 3-м лицом (*он*) в высказывании появляется «4-е ли-

цо», обозначаемое в русском языке через *тот*, например: *В зоопарке Петя встретил Васю;* ***тот*** *пришел на экскурсию со своим классом.* Однако такая языковая техника требует соблюдения целого комплекса условий: определенного расположения слов и предложений, семантических ограничений, налагаемых на заменяемое местоимением имя и др. По этим причинам неправильны будут предложения: *В зоопарке Пете встретился Вася; тот пришел на экскурсию…*; *Васю Петя встретил в зоопарке, тот пришел на экскурсию…* или *В зоопарке Вася встретил слона; тот жевал корм…* Как видим, с таким «4-м лицом» надо вообще обходиться осторожно.

Очень интересные различия между славянскими языками наблюдаются в связи со способностью или неспособностью местоимений обозначать неидентичный объект при анафоре. Так, по-русски можно сказать: «У меня есть компьютер, а у тебя **его** нет». (При этом, конечно, имеется в виду, что ‘У тебя нет никакого компьютера’, а не ‘того, который есть у меня’.)

В болгарском же языке в аналогичной ситуации употребить форму личного местоимения нельзя (неправильно: **Аз имам компютер, а ти го нямаш*). Дело в том, что здесь личные местоимения анафорически отсылают только к определенному объекту и выражают идентичность с ним (Б. Блажев). Возможно, это связано с развитием в болгарском морфологической категории определенности имени (т. е. с наличием там артикля).

Одно из прагматически самых богатых личных местоимений – **местоимение 1-го лица множественного числа** *мы* («подтверждаемое» соответствующими глагольными формами). *Мы* – это, конечно, не множественное число к *я*, что давно заметили ученые (сравнивая с множественным числом существительных, где *деревья* – это ‘дерево’ + ‘дерево’ + ‘дерево’… Так вот *мы* – это не ‘я’ + ‘я’ + ‘я’…).

В некоторых языках формально различаются «мы» инклюзивное, включающее в себя собеседника, и «мы» эксклюзивное, исключающее собеседника из «совокупного субъекта». В русском языке это семантическое различие скрыто, оно может быть передано только с помощью уточнения: *мы с тобой* и *мы с ним* или *с ней* (*с Петром, с Машей* и т. п.). Причем «мы с *X*» – это, так сказать, славянское изобретение. В других языках данный смысл выражается через сочинительную конструкцию: «я и *X*» или «*X* и я». Если же в русскоязычном тексте мы встречаем обороты типа *Петр Иванович и я* или *я и мои избиратели*, то это, скорее всего, стилистическая погрешность.

Итак, *мы* означает ‘я’ + ‘кто-то другой’. И вот эта вторая семантическая составляющая *мы* может быть чрезвычайно разной, ср.:

мы – ‘я + тот, кто принадлежит к тому же, что и я, полу’,
мы – ‘я + тот, кто принадлежит к тому же, что и я, возрасту’,
мы – ‘я + тот, кто исповедует ту же, что я, религию’,
мы – ‘я + тот, кто живет со мною в одном городе’,
мы – ‘я + тот, кто вместе со мною образует семью’,
мы – ‘я + тот, с кем я разговариваю’,
мы – ‘я + тот, кто учится со мною в одном классе’,
мы – ‘я + тот, кого я учу, воспитываю’ и т. д.

Иногда для такого второго компонента *мы* существует специальное название (*супруг, одноклассник, единомышленник, сосед, единоверец, собеседник, партнер* и т. п.), но в огромном большинстве случаев этот коллективный субъект образуется случайно, на один раз, и потому специального наименования не имеет. Из-за нечеткости этого коллективного субъекта в диалоге постоянно возникает вопрос: «Кто это – мы?» Кто именно имеется в виду? Литературные цитаты:

– Для чего же тебе понадобилась гайка?
– Гайка-то? Мы из гаек грузила делаем…
– **Кто это – мы?**
– Мы, народ… Климовские мужики то есть (А. П. Чехов. Злоумышленник).

– Что вы пьете? – спросил Павор.
– **Кто – мы?** – осведомился Голем. – Я, например, как всегда, пью коньяк. Виктор пьет джин. А доктор – все по очереди (А. Стругацкий, Б. Стругацкий. Гадкие лебеди).

Неопределенность второй составляющей *мы* в речи часто является причиной речевых манипуляций: вместо одного семантического компонента носителю языка подсовывается другой. Так, в следующем контексте говорится об антиалкогольной компании в СССР в 1990-е годы.

«**Мы** потеряли от сокращения продажи спиртного огромную сумму, но **мы** от этого не откажемся», – подытоживал М. С. Горбачев. *Мы…* – а тем временем сотни тысяч людей стояли в винных очередях и практиковали другое употребление местоимений (В. Шапошников. Русская речь 1990-х).

Еще пример на ту же тему:

Когда журналист в телевизоре говорит мне что-то вроде того, что «**наша** политика в Закавказье должна» или «**мы** не можем допустить, чтобы», мне хочется сказать ему: «слушай, дорогой. **Кто это «мы»?** Это ты вкупе с президентом, его администрацией, с его армией и тайной полицией? Так так и говори. А я тебе – **не «мы».** У меня, знаешь ли, **свои «мы»…** (Л. Рубинштейн. Духи времени).

Излюбленная сфера манипуляций с *мы* – политические лозунги, публицистика, массовая песня. Контексты типа *Мы требуем…, Мы не позволим, чтобы…, Мы ждем от мировой общественности поддержки…, Мы*

рождены, чтоб сказку сделать былью, Нам нет преград ни в море, ни на суше..., Нам песня строить и жить помогает... содержат в себе «презумпцию включенности в коллектив», они навязывают носителю языка образ некоего изначального социума, частицей которого он является. *Мы* становится инструментом идеологической суггестии, воздействия на людей, воспитания «винтиков» государственной машины. Не случайно одна из самых известных антиутопий, повествующих о жестко регламентированной жизни людей в условиях тоталитарного государства, так и называется – «Мы».

Кроме такой «социальной» составляющей *мы*, следует сказать особо о «психологической» составляющей. Семантическое пространство между ‘я’ и ‘не-я’ в составе *мы* может члениться по-разному. В том числе встречаются случаи, когда ‘не-я’, т. е. ‘кто-то другой’, занимает в *мы* основное место. Классические образцы такого словоупотребления – это так называемое «докторское» *мы*:

– Как **мы** себя **чувствуем**? Какая **у нас** температура? О-о, **мы** уже **встаем** понемножку?

Здесь под «мы» имеется в виду собеседник, ‘ты’, но к этому примешивается доля ‘я’: ‘Я – твой доктор’.

Употребление такого *мы* естественно прежде всего для сферы обслуживания (это больницы, парикмахерские, ателье, бани и т. п.). Оно выражает стремление к интимизации общения, ощущению сочувствия, причастности к действиям другого лица. А за пределами этой сферы *мы*, обозначающее 2-е или 3-е лицо, может нести в себе и другие прагматические оттенки: смущения, удивления, гордости, иронии и т. п., ср. примеры:

Света краснела и опускала голову... Потом она стала шушукаться с Асей, ходить на какие-то уколы, и наконец настал счастливый день, когда сияющий Василий объявил:

– А **мы беременны**! (Д. Донцова. Принцесса на кириешках; здесь *мы беременны* – ‘Света беременна’).

– Эти ботинки сделаны итальянскими сапожниками, живущими в Париже. На заказ.

– Ты смотри, пожалуйста. **Мы шьем** себе ботинки на заказ.

– Да. **Шьем**. Раз в пять, десять лет (А. Кончаловский. Низкие истины; здесь *мы шьем* – ‘ты шьешь’, а в ответной реплике *шьем* – ‘я шью’).

Естественно, не всегда участники диалога понимают *мы* одинаково, и на этом может строиться сюжет. Свидетельством тому послужит следующий анекдот.

Милиционер останавливает студента и требует показать документы.
– Та-а-ак, не работаем, значит…
– Не-а, не работаем.
– Та-а-ак, денежки государственные проедаем, значит…
– Да, проедаем.
– Та-а-ак, студенты **мы**, значит…
– Нет, извините, студент я один!

В последней реплике выясняется, что милиционер в ходе диалога использует *мы* в «докторском» значении, в то время как студент – в инклюзивном (‘мы с тобой’).

Местоимение 2-го лица множественного числа *вы* семантически тоже непросто. Оно может означать группу собеседников (‘ты + ты + ты’…), а может – собеседника вкупе с каким-то третьим лицом (‘ты + он или она’). Референтная соотнесенность этого местоимения варьируется в зависимости от ситуации, ср. два примера:

Здесь эмигрантская критика злобно визжит, говоря о вас, работающих в России … **Говоря «вы», я,** разумеется, **исключаю ряд людей**, которые пишут не то, что могли бы, а лишь о том, что им приказано (М. Горький. Письмо писателю С. Клычкову).

– Собаки не предпочитают кости и жилы, просто им дают кости и жилы, а они предпочли бы то же, что и человек, – вырезку. **Вам** просто удобнее так считать, что они вырезку не так уж любят, как кость…
– **Кому это – вам**?
– Людям.
– А вы что, не человек?.. – язвит Екатерина Андреевна (А. Битов. Заповедник).

Заслуживает внимания также **местоимение 3-го лица множественного числа** *они*. «Они» – не просто множественный (расчлененный) субъект, не участвующий в разговоре. Это слово также наполняется особыми прагматическими оттенками благодаря своей противопоставленности «мы». «Мы» и «они» в сознании современного человека – как бы два полюса, воплощающие в себе противостояние двух систем: политическое, идеологическое, военное, экономическое. Пример:

– Да вы знаете, – перебил его редактор, – если **мы** сейчас дадим лазейку насчет микроклимата, **они** все будут кричать, что у **них** микроклимат неподходящий… И это теперь, когда **нашим** начинанием заинтересовались повсюду?
– А разве **мы и они** – не одно и то же? – сорвалось у меня с губ (Ф. Искандер. Созвездие Козлотура).

Таким образом, личные местоимения – слова, которые нужны не только для построения текста и организации пространства речевого акта (с ориентирами «говорящий» – «собеседник» – «некто или нечто третье, не участвующее в речевом акте»). Они еще служат регулированию отношений между собеседниками – и в этом их прагматическая миссия. Назвать себя просто «я» или обозначить через занимаемый пост, обратиться к собеседнику на «ты» или на «вы» или вообще в 3-м лице, использовать местоимение единственного числа *я* или множественного числа *мы* и т. д. – от всего этого зависит развитие межличностных отношений: дистанция между участниками диалога может увеличиваться, а может сокращаться. В соответствии с этим личные местоимения оказываются важнейшим инструментом коммуникативных технологий.

ЛЕКЦИЯ 4

ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫХ, ВОПРОСИТЕЛЬНЫХ, УКАЗАТЕЛЬНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ

В этой лекции мы рассмотрим некоторые другие разряды местоимений – притяжательные, вопросительные и указательные. Все они также весьма склонны к приобретению прагматических оттенков значения.

О притяжательных местоимениях, или посессивах, логично поговорить сразу после лекции про личные местоимения: между этими двумя разрядами слов существует глубокая внутренняя связь. По мысли философа и психолога Уильяма Джеймса, человеческое «я» складывается из многочисленных «моё»: «моё тело», «мои мысли», «мои воспоминания», «моя семья», «мои друзья» и т. д.

Но, замечу, притяжательные местоимения очень редко (по некоторым подсчетам, лишь в 5 % случаев) обозначают притяжание (обладание) как таковое. *Мой карандаш* или *твои туфли* – тут все понятно. Но возьмем другие примеры: *мои родители, наша экскурсия, твое присутствие, его молчание* и т. п. – о каком обладании можно тут говорить? Да и вообще притяжание относительно. Когда-то Лев Толстой в повести «Холстомер» вкладывал в уста лошади горькое признание:

> ...Люди руководятся в жизни не делами, а словами. ... Таковые слова, считающиеся очень важными между ними, суть слова: *мой, моя, мое*, которые они говорят про различные вещи, существа и предметы, даже про землю, про людей и про лошадей. Про одну и ту же вещь они условливаются, чтобы только один говорил – *мое*.

А вот пример из сегодняшней жизни, показывающий проблему немного с другой стороны:

> – Чья кошка? – строго спросила Елена Дмитриевна.
> – Ничья.

– А как она сюда попала?
– Я принес, – сознался Климов и почему-то заробел.
– Значит, **ваша**?
– Ну, **моя**… (В. Токарева. Кошка на дороге).

Если притяжание относительно и если посессивы очень редко обозначают обладание как таковое, то что же тогда они обозначают? Вообще говоря, они обозначают отношение предмета к другим предметам. А если говорить точнее, то нам не обойтись тут без понятия синтаксической позиции. Если личное местоимение вытесняется с позиции субъекта (в традиционной терминологии – подлежащего, в новейшей – 1-го актанта), то оно автоматически преобразуется в притяжательное, ср.: *Я приеду – мой приезд; Он молчит – его молчание.*

Когда же местоимение смещается в структуре высказывания с более важной позиции на менее важную? Иначе говоря, какие цели преследует говорящий, понижая синтаксический ранг местоимения? Обычно это происходит тогда, когда говорящий хочет построить семантически сложное высказывание, состоящее из нескольких пропозиций, и одну из них приходится номинализировать, воплотить в именную структуру, ср.:

Я поеду на автобусе + Автобус опаздывает = Мой автобус опаздывает.

Ты молчишь + Это настораживает = Твое молчание настораживает.

Получается в таком случае, что притяжательные местоимения семантически производны от личных. Некоторые ученые вообще отказывают посессивам в самостоятельности. Например, в польской «Энциклопедии общего языкознания» (1995) прямо говорится: «Притяжательное местоимение – это позиционный (контекстуальный) вариант личного местоимения, выступающий в позиции при существительном… В семантическом отношении не отличается от личного местоимения».

Причем эта констатация – не лингвистическая абстракция, а языковая реальность, присутствующая в нашем сознании. Приведу два характерных примера, в которых говорящий, сам того не замечая, переходит с *мы* на *наш*, подсознательно их отождествляя.

В поведении Вадима было что-то неестественное, коробили эти: «**МЫ** можем», «**МЫ** не можем», «**У НАС** уже есть», «**НАШЕ** государство»… Нина Иванова, даже Саша Панкратов могли бы так говорить, это их мир, у них есть на это право. А у Вадима нет (А. Рыбаков. Дети Арбата).

До того он изъяснялся, употребляя местоимение **мы**: **мы**, Министерство культуры, **мы**, должностные лица, **наши** полномочия, **наша** ответственность… Ну, я и ответила ему в том же ключе (Независимая газета. 2001. 26 дек.).

Своеобразное подтверждение сказанному мы находим в известной фразе, передающей особенности туземного пиджина: «Моя твоя не понимай» (‘Я тебя не понимаю’). Литературный пример:

– Ты кто будешь, китаец или кореец?
– **Моя** гольд, – ответил он коротко. […]
– А где ты живешь?
– **Моя** дома нету. **Моя** постоянно сопка живи. Огонь клади, палатка делай – спи (В. К. Арсеньев. Дерсу Узала).

Приведу еще забавный факт, рассказанный лингвистом И. М. Богуславским.

Внук Степа рассматривает семейную фотографию, где среди прочих лиц запечатлен и он. Его спрашивают, показывая на фото:
– Это кто?
– Степа.
– Какой Степа?
– **Наш! Мой** Степа!!

Следует сказать, что для многих языков различие между личными и притяжательными местоимениями неморфологично и неявно. Но если подходить к посессивам с чисто грамматической точки зрения, то совершенно справедливым будет такое решение: они – трансформы личных местоимений. Иными словами, *мой* – это *я* в особой (вторичной, сдвинутой, преобразованной) синтаксической позиции и т. д. Однако богатство содержащихся в притяжательных местоимениях прагматических оттенков требует выделения их в самостоятельный класс.

Один из таких оттенков – это все же воплощение идеи собственности. Но собственности не в бытовом понимании (как в случаях *мой карандаш* или *твои туфли*), а в смысле обозначения границ личной сферы человека, особенно – говорящего субъекта. Можно сказать, что посессивы психологически помогают человеку очертить территорию его интересов, круга его родных и знакомых.

Достаточно вспомнить, как А. С. Пушкин в самом начале своего «Евгения Онегина» формирует личную сферу автора, наводя мосты между собой, своим героем и читателем:

Онегин, добрый **мой** приятель,
Родился на брегах Невы,
Где, может быть, родились **вы**
Или блистали, **мой** читатель…

Симптоматичны в этом отношении распространенные в белорусской народной речи обращения, включающие в себя местоимение *мой* в сочетании с *ты* и именем адресата: *Ах мая ж ты любачка!*; *Мой ты паночку!*;

Мой ты таварышок! (ср. еще белорусскую поговорку *А мой ты такі, а мой ты сякі, а мой ты гэтакі!*). *Мой* в составе такого обращения служит сближению говорящего и слушающего, включению последнего в личную сферу субъекта. А объединение в одном обороте 1-го и 2-го лица (*мой* и *ты*) как бы подразумевает или предваряет создание в дальнейшем совместного субъекта (*мы*, *наш*).

В русском же речевом обиходе, особенно после фильма «Гараж», получили распространение составные обращения типа *счастливый вы наш; недоверчивая вы моя; любознательный мой* и т. п. (хотя в них можно ощутить некоторую иронию и скрытую отсылку к первоисточнику).

Понятно, что сфера местоимения *мой* охватывает всё, что для человека важно и дорого. В таком случае естественными становятся и *мои родители*, и *мой город*, и *мой Пушкин*… Последнее словосочетание наводит на мысль о книге Марины Цветаевой с таким названием:

> «Мой Пушкин» был воспринят как притязание на единоличное владение и претензия на единственно верное толкование. Между тем для Цветаевой **«мой» в данном случае – не притяжательное, а указательное местоимение**: тот Пушкин, которого я знаю и люблю с еще до-грамотного детства, с памятника на Тверском бульваре, и по сей 1937 год (В. Швейцер. Быт и бытие Марины Цветаевой).

Приведу еще примеры, в которых *мой* имеет очевидное значение ‘сокровенный’, ‘важный или дорогой для говорящего’:

> – Собрался в отступ, Аникей?
> – Мне собраться, как голому подпоясаться. **Мое – во мне**, а чужое будет при мне! (М. Шолохов. Тихий Дон).

> В е р и г и н. ...Только вот я теперь не знаю, как со Скофилдом быть. Ведь та же петрушка будет…
> Б у з ы к и н (вскричал). Нет! Скофилд – **это мое**! – вскричал Бузыкин. – Это я на коленях! (А. Володин. Осенний марафон).

На этой базе вырастает аксиологически окрашенное, идеологизированное значение ‘принадлежащий к тому же обществу’, ‘правильный, настоящий’, ‘хороший, замечательный’. Понятно, что в основе этой положительной оценки лежит уже знакомый нам принцип наивного эгоцентризма («Все, что связано с ‘я’, – хорошо»), но государственный строй может этот принцип социализировать, обратить в общественный символ. Вспомним у Владимира Маяковского в поэме «Хорошо!»:

> Улица –
> моя.
> Дома –
> **мои [**…]

Пыль
    взбили
шиной губатой –
в **моём**
    автомобиле
мои
    депутаты.

Особенно же подверженным идеологизации оказалось в русском языке значение местоимения *наш*. Притяжательное местоимение 1-го лица множественного числа служит целям психологического сближения говорящего со слушающим (или с 3-м лицом), созданию атмосферы сотрудничества, доверительности и интимности. Так же, как и личное местоимение *мы*, слово *наш* может использоваться как инструмент манипуляции, навязывания адресату определенного взгляда на положение дел. Причем это касается не только сферы идеологии. В недавней заметке в журнале «Русский язык в школе и дома» (2008. № 6) говорилось об «избыточном употреблении местоимения *наш*» в кулинарных телепередачах и приводились примеры типа ***Наш*** *сырный суп с грудинкой готов; Берем* ***наш*** *шарик мороженого и поливаем его* ***нашим*** *сиропом* и т. п. Понятно, что таким образом телезритель, хочет он того или нет, вовлекается в процесс приготовления блюда, становится соучастником процесса.

Сегодняшняя прагматическая аура *наш* – это результат развития, движения от оттенков ‘родной, идейно близкий’ через ‘принадлежащий к тому же обществу (кругу)’ к оттенкам ‘отечественный’, ‘справедливый’, ‘настоящий’, ‘хороший’ и т. п. Цитаты:

Пошло в ход деление на **«наш»** и **«не наш»**. **«Не наш»** – тот, кто верит в другого Бога, ходит не в нашу церковь (А. Кончаловский. Низкие истины).

Белая ночь. Все зеленовато-стеклянное. Но это какое-то другое, хрупкое стекло – **не наше, не настоящее**, это – тонкая стеклянная скорлупа... (Е. Замятин. Мы).

В самом центре толпы [...] разевал в крике запекшийся рот бывший унтер-офицер вермахта, а ныне руководитель партии Радикального возрождения Фридрих Гейгер.

– И это будет только начало! Мы установим в Городе **наш, истинно народный, истинно человеческий** порядок! (А. Стругацкий, Б. Стругацкий. Град обреченный).

А в следующей цитате из «Зияющих высот» А. Зиновьева идеологизация *наш* доведена до саркастического абсолюта:

Конечно, он не совсем **наш**. Не то, чтобы совсем **не наш**, но не настолько **не наш**, чтобы считать его совсем **не нашим**.

Впрочем, при другой исходной точке зрения *наш* может оказаться как раз «нехорошим», «ненастоящим», ср. следующий контекст:

– Это Юрочка, он в Калифорнии живет, вот. Инженер по электронике, какое-то дело у него большое. Богатый. **Не по-нашему, по-настоящему** (Л. Улицкая. Бедные родственники).

Семантическим антиподом к слову *наш* выступает притяжательное местоимение *их*. Противопоставление *наш* – *их* касается самых разных сфер человеческой жизни. Приведу для начала забавный пример – анекдот на польском языке.

– Jezus Maria, uciekł **nasz** pociąg!

– Zastanów się tylko, co mówisz! Gdybyśmy byli do niego wsiedli, mogłabyś powiedzieć: **nasz** pociąg. Ale uciekł nam **ich** pociąg! (J. Wittlin. Jest taki dowcip!).

Здесь супруги опоздали на поезд и жена упрекает мужа:

– **Наш** поезд ушел!

– Подумай только, что ты говоришь! Вот если бы мы на него успели, ты могла бы сказать «**наш** поезд». А так это **их** поезд ушел!

Посессив *их* также развивает в себе целый букет переносных, в том числе идеологизированных, значений: ‘чужой’, ‘заграничный’, ‘неприемлемый’, ‘враждебный’, ‘плохой’ и т. п. Достаточно вспомнить распространенную в годы «развитого социализма» газетную рубрику «Их нравы», рассказывавшую о жизни «загнивающего» Запада. По этой же причине *наш* нередко в тексте эксплицитно противопоставлено прилагательным *плохой, чужой* и т. п.

Не случайно в «Трактире на Пятницкой», где Корольков и Григорьев сыграли вместе, артисты находились по разные стороны баррикад: первый был **«за наших»**, второй – **«за плохих»** (Комсомольская правда в Белоруссии. 2007. 28 янв.).

Следующая цитата – из уже знакомой нам пьесы (и киносценария) А. Володина «Осенний марафон». Вузовский преподаватель Шершавников встречает своего коллегу Бузыкина с молодой интересной женщиной.

Шершавников (*оглядел Аллу*). **Наша**? Что-то никогда не видел.

Алла. **Чужая**.

Здесь Шершавников своей репликой пытается отрегулировать отношения с Бузыкиным (выбирая для этого покровительственно-заговорщический тон), а заодно еще косвенно заигрывает с Аллой. В вопросе «Наша?» таится двусмысленность. Это может значить: ‘Студентка нашего университета?’; ‘Человек нашего круга?’ и т. п. Алла же своим ответом

сразу пресекает эти попытки, во-первых, отвечая с чужой позиции (спрашивали-то не ее) и, во-вторых, обыгрывая сему ‘собственность’ в слове *наш*.



Плакат движения «Наши»

Форма множественного числа *наши* в субстантивированной функции получает значение ‘войска, солдаты’ (чаще всего применительно к Красной или Советской армии). Но вообще-то такое особое прагматическое использование местоимения в русском языке известно очень давно. Во всяком случае, уже у Ф. М. Достоевского в «Бесах» субстантиват *наши* – ключевое слово, маркирующее группу нигилистов-анархистов, ср.:

> В восьмом часу вечера, когда уже совсем стемнело, на краю города, в Фоминском переулке, в маленьком покривившемся домике, в квартире прапорщика Эркеля, собрались *наши*, в полном комплекте, впятером (курсив Ф. М. Достоевского).

Не случайно также, что общественно-политическое движение преимущественно националистического толка, возникшее в России в конце XX века, взяло на вооружение ту же лексему. Появилось даже неофициальное обозначение движения: *нашизм* (не без аллюзий, очевидно, с *фашизмом* и *нацизмом*).

Субстантивированные формы множественного числа *мои, твои, наши, ваши* могут также означать в тексте родственников, а формы единственного числа *мой / моя, твой /твоя* – супругов:

> – Очень уж просты на любовь-то мужики эти самые, – ворчала старуха […] – Не бойся, утешится **твой-то** с какой-нибудь кержанкой (Д. Н. Мамин-Сибиряк. Золото).

Словари фиксируют также (и выделяют в отдельный пункт) значение посессивов *мой, твой* и других как ‘упомянутый’, ‘тот, о котором шла или идет речь’, например:

> Из соседней комнаты слышалось пианино, тихо кто-то наигрывал фокстрот, и я видел, как топтался **мой** молодой человек, держа, прижав к себе, даму (М. Булгаков. Театральный роман).

> – …Как учил товарищ Энгельс, белок и есть сама жизнь, – спорил Саша.
> – И **твой** Энгельс, и ты, все вы ничего не понимаете, – шумел Бас, главное – это котлеты (А. Даров. Блокада).

Если семантика *наш* диаметрально противопоставлена *их*, то между *наш* и *ваш* имеют место скорее отношения сопоставления. Тут, во-первых, надо учесть то, что оба местоимения обслуживают участников речевого

акта (и в состав и *наш*, и *ваш* может входить сема 'твой'). А, во-вторых, и формальная структура местоимений очень уж похожа: они легко вступают в отношения рифмы, что фиксируется в многочисленных поговорках, присловьях типа *И **нашим**, и **вашим**; От **нашего** стола – к **вашему** столу; Было **ваше** – станет **наше*** и т. п.

Притяжательные местоимения 3-го лица *его, ее, их* в русском языке, как известно, производны от формы родительно-винительного падежа личных местоимений (а когда-то – указательных) и почти совпадают с ними морфологически (различия проявляются только в сочетаниях с предлогами). Ср.: *Я не видел **ее*** и *Я не видел **ее книги**; Ребенок боится **их*** и *Ребенок боится **их собаки*** и т. п. Такая омонимия представляет собой определенное неудобство, и славянские языки пытаются эту проблему решить путем морфологизации посессивов 3-го лица.

В частности, в южнославянских языках – болгарском, македонском, словенском и др. – на основе генитивных форм личных местоимений образовались специальные морфологические формы посессивов 3-го лица. Сравним болгарские и русские примеры: ***негов** пуловер – его свитер, **негова** риза – его рубашка, **негово** огледало – его зеркало, **негови** обувки – его туфли*.

В других языках – чешском, украинском, белорусском и др. – тенденция к морфологизации посессивов 3-го лица находит себе лишь частичное разрешение. Так, в чешском сформировалось согласуемое притяжательное местоимение женского рода *její*, при том что форма мужского и среднего рода *jeho*, а также множественного числа *jejich* остаются несклоняемыми (впрочем, форма *jejich* уже словообразовательно отличается от генитивной формы личного местоимения *jich*). В белорусском наряду с несклоняемыми посессивами мужского рода *яго* и множественного числа *ix* (омонимичных формам родительного падежа личного местоимения) широко употребляются морфологизированные посессивы *ягоны* и *іхні*.

В русском языке эта тенденция пробивает себе дорогу через просторечие. Именно здесь появляются формы посессивов 3-го лица *евоный, ейный, ихний*. И если первые две формы несут на себе яркую печать стилистической сниженности (просторечие!), то последняя постепенно от нее избавляется. Во всяком случае, сегодня эту форму можно встретить и в публицистическом тексте:

Но вот что удивительно: любые происшествия на Западе – выход на поверхность негативных тенденций, очередной симптом загнивания, проявление тайных сил, подтачивающих **ихнюю** государственность (Труд-7. 2008. 5 июня).

Следует специально остановиться и на семантике притяжательного местоимения *свой*, оно тоже богато прагматическими оттенками, среди которых можно отметить следующие.

Прежде всего, *свой*, так же как и другие посессивы, приписывает человеку или предмету некоторые другие предметы в качестве важных, сущностных признаков. Например, в следующем примере *свой* характеризует ванную комнату как постоянный признак квартиры:

Далее Люля наняла строительную бригаду. Они сломали стены внутри нового помещения, образовался шестидесятиметровый кабинет-студия **со своей ванной** и хозблоком (В. Токарева. Груда камней голубых).

Но поскольку слово *свой*, в отличие от всех остальных притяжательных местоимений, имеет «вселичный» характер («свой» – это и «мой», и «твой», и «наш», и «их» и т. д.), то оно аккумулирует в себе и прагматические оттенки всех трех лиц. Это значит, что оценочный диапазон значений этого посессива очень широк, от «хороший» до «плохой». Можно сказать, что среди притяжательных местоимений *свой* наиболее амбивалентно. Сравним, с одной стороны, примеры типа *Огурчики* ***свои****, ешьте, дорогие гости* (где *свои* значит ‘мои’, ‘хорошие’, ‘вкусные’, ‘экологически чистые’), а с другой стороны – *Отстань ты со* ***своими*** *расспросами!* (где *свои* значит ‘твои’, ‘надоевшие’, ‘глупые’, ‘плохие’). Приведем и две соответствующие литературные цитаты: в первой из них *свой* употреблено «со знаком плюс», во второй – «со знаком минус». Однако заметим, что в первом случае *свой* эмфатично, находится в ударной, рематической позиции, а во втором, наоборот, безударно.

– Слышу, – объяснил Иван. – От плохой опухоли идет холод, а от доброкачественной тепло. **Своя ткань** (В. Токарева. Хэппи-энд).

Разобрав рукописи, Мишель, бегая по комнате в **своих подштанниках**, начал диктовать тетке Марье Аркадьевне новый вариант... (М. Зощенко. Мишель Синягин).

Шкала и последовательность прагматических переходов здесь примерно такова: ‘хороший’ → ‘надежный’ → ‘привычный’ → ‘характерный’ → ‘обычный’ → ‘никакой’ → ‘надоевший’ → ‘досадный’ → ‘ненавистный’ → ‘плохой’.

Кроме того, употребление слова *свой* предполагает определенный уровень синтаксической активности субъекта притяжания. Это условие относится к области «скрытой», неочевидной грамматики, но его нетрудно продемонстрировать на конкретных примерах. Речь идет о проблеме выбора в некоторых контекстах между формами *свой*, с одной стороны, и *его, ее, их* и т. д., с другой.

Предположим, что некто по имени *Петя* является субъектом притяжания по отношению к объекту по имени *деньги*. На эти деньги он купил для нас продукты. И это отражается в следующих высказываниях:

Покупая нам продукты, Петя истратил ***свои деньги****.*

Мы попросили Петю купить продукты за ***свои / его деньги****.*

Пете хватило ***своих / его денег****, чтобы купить нам продукты.*

Благодаря Пете ***с его деньгами****, мы запаслись продуктами.*

В первом примере, в котором *Петя* занимает позицию 1-го актанта, допустимо только местоимение *свой* (нельзя сказать «Петя истратил его деньги»). В последнем примере, в котором Петя отодвинут на синтаксически периферийную позицию, наоборот, допустимо только *его* (нельзя сказать «Благодаря Пете со своими деньгами…»). А во втором и третьем примерах мы имеем ситуацию выбора – можно сказать и *свой*, и *его*. И вот здесь вступает в действие прагматика: как лучше выразить мысль, какие оттенки подчеркнуть? Надо признаться, в пособиях по стилистике и литературному редактированию эти вопросы решаются довольно поверхностно, например: «Употребление притяжательных местоимений *мой, твой, наш, ваш* вместо возможного по условиям контекста *свой* больше подчеркивает связь с соответствующим лицом…» (Д. Э. Розенталь).

Из сказанного в этой лекции следует, что притяжательные местоимения вступают в тесные семантические отношения с прилагательными и причастиями – такими как *собственный, персональный, личный, родной, ближний, прилагаемый, включенный* и др. (не забудем также и о притяжательных прилагательных – *Петин, Машин, отцов* и т. п.). Это тоже говорит об их семантической автономии, независимости от личных местоимений. Стоит упомянуть еще об устойчивых выражениях, включающих в себя посессивы, вроде *мое почтение; дорогой мой; на твоем месте; знай наших; наши люди; какие наши годы?; ваше здоровье; остаться при своих; на своих двоих* и т. п. Все они хранятся в нашей памяти в готовом виде в ожидании подходящей коммуникативной ситуации.

Общий вывод можно сделать такой. Притяжательные местоимения семантически соотносимы с личными, но не сводимы к ним. Посессивы живут собственной языковой жизнью. Это значит, что в нашем сознании присутствуют отдельные семантические сущности типа «мой», «наш», «свой» – и они образуются в значительной степени благодаря набору прагматических значений.

Следующий интересующий нас разряд местоимений – это **вопросительные.** Конечно, самое естественное для них место – в высказываниях, направленных на запрос информации, например: *Кто там?; На какую платформу приходит поезд из Москвы?; Сколько сейчас времени?* и т. п.

Такие фразы объединяются в особый вид речевых актов – интеррогативы.

Но иногда высказывание, по форме являясь вопросительным, не требует от собеседника ответа. Оно, собственно, может не требовать и наличия самого собеседника. Такие вопросы называются риторическими. Классический пример – начало повести А. С. Пушкина «Станционный смотритель»:

> **Кто** не проклинал станционных смотрителей, **кто** с ними не бранивался? **Кто**, в минуту гнева, не требовал от них роковой книги, дабы вписать в оную свою бесполезную жалобу на притеснение, грубость и неисправность? **Кто** не почитает их извергами человеческого рода, равными покойным подьячим или, по крайней мере, муромским разбойникам?

Зачем производятся такие высказывания? У них два прагматических основания: а) говорящий должен выплеснуть свои эмоции, б) говорящий ищет сочувствия в собеседнике (читателе и т. п.). Можно сказать, риторические вопросы ориентированы не столько на получателя, сколько на самого отправителя, они выполняют не коммуникативную (конативную, по известной классификации Р. Якобсона), а эмотивную функцию.

Вопросительные местоимения утрачивают также свою «интеррогативную» функцию в составе заголовков. Возьмем наугад несколько заголовков в сегодняшних газетах: ***Кто*** *завтра придет в школу;* ***Что*** *нового на экранах кинотеатров;* ***Кому*** *мешала спортплощадка;* ***Какой*** *тариф лучше* и т. п. Они довольно типичны для современной публицистики. Но заметим: вопросительного знака у них на конце нет, да и интонация им свойственна вполне повествовательная, с постепенным понижением тона. В такой ситуации вопросительные местоимения как бы утрачивают свою «вопросительность». По сути, эти высказывания обозначают не вопрос, а ответ: *Кто завтра придет в школу* – т. е. ‘Вот кто завтра придет в школу’ и т. п. Условиями для такого особого прочтения вопросительного местоимения являются, во-первых, ограниченность определенным жанром (заголовком в публицистическом тексте), а, во-вторых, инициальная позиция (невозможно представить себе в газете шапку *Завтра в школу придет кто*).


Роман Якобсон

Как известно, в процессе развития сложного предложения вопросительные местоимения становятся основой для класса союзных слов, служащих для объединения простых предложений

в сложноподчиненное. Тогда они называются относительными, например: *Мы не знаем,* ***кто*** *завтра придет в школу.* Эти два разряда местоимений в русской лингвистической традиции часто объединяют в одну рубрику, как «вопросительно-относительные». (Хотя, надо сказать, относительные местоимения пытаются обособиться, развивая некоторые свои собственные признаки.)

Но для нас интереснее то, что на базе вопросительных появляется огромное количество производных от них местоимений, насыщенных прагматическими оттенками. Вот как объясняет это Н. Ю. Шведова: «Исходные местоимения – категория в высшей степени активная: в них, кроме всего прочего, заложен потенциал выражения эмоционального отношения к сообщаемому. Такое функционирование всегда опирается на контекст, на интонацию и очень часто поддерживается сочетанием местоимения с частицами *же, и, только…*». Можно проиллюстрировать образование таких разнообразных сочетаний на примере местоимения *кто*. С его участием образуются *вот кто, кто как не…, хоть бы кто, бог знает кто, черт-те кто, кто попало, кто угодно, кто только не…, кто да кто, хоть кто, кто бы ни, кто бы то ни был, кто-кто, а…, кому не лень* и т. д.

Но и само исходное слово, как мы уже заметили, может принимать в тексте различные значения. О его «заголовочной» функции мы говорили ранее. Но вот в некоторой особой для говорящего ситуации (отчаяния, безысходности, беспомощности) вопросительное местоимение может приравниваться по смыслу к отрицательному, например: ***Кто*** *мне поможет?* (т. е. ‘никто’); ***От кого*** *мне ждать поддержки?* (‘не от кого’); ***Куда*** *же я пойду?* (‘некуда’) и т. п. Понятно, что это – сильное средство выражения не только эмоции, но и экспрессии, воздействия на окружающих.

Особый интерес представляют собой контексты, в которых вопросительное местоимение выступает в роли неопределенного. Пример:

> – Топаешь целый день, – заметил он погодя, – и дела будто не делаешь, а устанешь как собака и проголодаешься. Ты ел **чего**? (В. Богомолов. В августе сорок четвертого; здесь *чего* – ‘что-нибудь’).

Теоретически и этот случай вполне объясним. Запрос информации осуществляется в условиях, когда этой информации недостаточно. А недостаточность информации означает определенную степень энтропии, неопределенности ситуации. Так что «вызревание» неопределенно-личного значения внутри вопросительного местоимения в принципе оправдано. Однако русская литературная норма такого употребления не одобряет, оно допустимо только в разговорной речи и в просторечии, а тем самым намекает на сниженный социолингвистический статус говорящего. В других же славянских языках, где это явление также представлено – в

белорусском, польском, чешском и др., – оно считается стилистически нейтральным. Белорусский пример:

Сабакі матлялі хвастамі.
– Працаваць трэба, – бурчаў ён. – Бог падасць.
І выкладаў на жвір косткі, недаедкі і **што** іншае (У. Караткевіч. Залаты бог; т. е. '…Выкладывал на гравий косточки, объедки и что-то еще').

Вопросительные местоимения *кто* и *что* разграничены по сфере своего действия: в самых общих чертах, первое относится к лицам, второе – к предметам (и целым ситуациям). Но есть «спорные» случаи, когда говорящий должен сделать выбор. Например, как сказать о насекомом: «Кто это летает?» или «Что это летает?» То же – о неопределенном или необычном существе: «Кто это был?» или «Что это было?» И в разных славянских языках граница здесь может проходить немного по-разному. В польском, например, *co* (а не *kto*) можно сказать о собаке или козе… Но очевидно, что о человеке сказать «что» – значит наверняка его обидеть или даже оскорбить. Приведу примеры из русской литературы:

Катя. ...Между прочим, у нас на лестнице одна женщина, тридцать восемь лет, – вышла замуж.
Слава. За семидесятилетнего.
Катя. В тридцать восемь можно выйти **за что угодно** (А. Володин. Пять вечеров).

Они с некоторым удивлением взглядывали на Алену, а потом на секретаршу, как бы спрашивая: «А это **что**?» Именно не «кто», а «что» (В. Токарева. Тайна Земли).

Конечно, в каждом славянском языке есть свои особенности употребления вопросительных местоимений, обусловленные ситуацией общения и личностной характеристикой говорящего. Например, в болгарском местоимение *кой* 'кто', как и его русский эквивалент, обозначает лиц безотносительно к их полу и числу, ср.: *Кой е виновен – Мария или децата?* 'Кто виноват – Мария или дети?'. Здесь местоимение *кой* требует согласования в мужском роде, хотя под подозрением в виновности оказывается женщина или дети. Такова литературная норма. Но в народной речи, в просторечии, допускается изменение этого местоимения по родам и числам. Можно встретить фразы типа ***Кои*** *ли ще вземат сега властта?* 'Кто теперь захватит власть?' (*кои* стоит во множественном числе) или ***Коя*** *беше най-елегантна?* 'Кто был самый элегантный?' (речь идет о женщинах, и *коя* имеет форму женского рода).

Указательные местоимения в славянских языках в первую очередь воплощают в себе дейктическую (указующую) и анафорическую (отсылочную) функции. Но они имеют также некоторую прагматическую ценность.

Прежде всего она заключается в отсылке к определенным пресуппозитивным, предварительным знаниям, обязательным для говорящего и слушающего. И, разумеется, в каждом языке эти знания – свои.

В частности, в современном сербском принята трехступенчатая градация указательности в зависимости от близости/удаленности того, на что указывается. Скажем, о лице или предмете, имеющем прямое отношение к говорящему и к речевому акту, говорится *овај* ‘этот’, *ова* ‘эта’, *ово* ‘это’. Если лицо или предмет не участвует в разговоре, но находится «в пределах досягаемости», о нем скажут – *тај* ‘этот (дальний)’, *та* ‘эта (дальняя)’, *то* ‘это (дальнее)’. Наконец, если предмет или лицо удалены от собеседников в пространстве и времени, используются местоимения *онај* ‘тот’, *она* ‘та’, *оно* ‘то’. Градация по близости/удаленности является для указательных местоимений сквозной, т. е. охватывает всех представителей данного разряда. Например, русское выражение *такой человек* может быть переведено на сербский как *овакав човек, такав човек* или *онакав човек* в зависимости от того, связано ли упоминаемое лицо с говорящим, со слушающим, или же оно существует где-то «само по себе» (кстати, у местоимений, указывающих на максимально отдаленный предмет, легче развивается оттенок пейоративной оценки). Характеризуя по-сербски величину (рост, вес) человека, придется примерять ее к себе и выбирать из таких трех слов: *оволики, толики, онолики*. Например:

И ти ћеш да се рвеш са оволиким / толиким / онолики човеком? ‘И ты будешь бороться с таким человеком?’

А при переводе на сербский предложения *Так больше жить нельзя* придется подыскивать для *так* одно из соответствий – *овако, тако* или *онако* – в зависимости от того, **что** имеется ли в виду: ‘нам’, ‘тебе’ или ‘им так жить нельзя’. Конечно, для носителя языка эти знания конвенциональны, общеприняты, и, можно сказать, входят в языковую технику, но поскольку для говорящего элемент выбора присутствует (например, как расценить «близость» или «удаленность» персонажа литературного произведения?), то данная пресуппозиция имеет и прагматическую ценность.

В другом славянском языке – чешском – указательные местоимения характеризуются, по наблюдениям исследователей, необычайной частотой употребления. Конечно, это не значит, что чехи чаще, чем представители других народов, указывают на предметы и признаки. Просто здесь указательные местоимения приобретают дополнительные функции. Это, во-первых, выражение экспрессии. Местоимение *ten* может выражать эмоциональный настрой говорящего, усиливать интенсивность побуждения или оценки. Следующие примеры наглядно демонстрируют эту осо-

бенность чешского языка: **Ten** Filip **ten** prach zas neutřel! ‘А Филипп опять пыль не вытер!’; Zapni si pořádně **ten** knoflík u **toho** kabátu! ‘Да застегни ж ты наконец пуговицу на пальто!’.

Во-вторых, указательные местоимения в чешском не просто анафорически отсылают к предшествующим текстовым фрагментам, но намекают на некоторый общий опыт говорящего и слушающего, например: Zítra musím jít do **té** spořitelny pro **ty** peníze na **tu** chladničku ‘Завтра я должен пойти в банк, чтобы снять деньги на холодильник’.

Очевидно, что и в том, и в другом случае указательные местоимения несут вторичную, прагматическую нагрузку: они характеризуют отношение говорящего к собеседнику и к содержанию сообщения.

Добавлю, что в русском языке пусть реже, но можно найти аналогичные контексты, в которых слова *этот, такой* и т. п. приближаются по своей роли к экспрессивным частицам. Иллюстрация:

> «Она не переносит петербургского климата, – говорил Бородин все три года, которые она прожила в Москве. – **Эти** туманы, **эти** ветра наши…» (Н. Берберова. Бородин).

В системах указательных местоимений славянских языков довольно много вариантов, а иногда и дублетов. Само это качество, по-видимому, внутренне связано с предрасположенностью дейктических слов к выражению дополнительных экспрессивных оттенков. В частности, среди указательных местоимений довольно много устаревших единиц. Это можно показать на материале русского языка. Здесь существуют *сей, сякой, оный, таковой*… Они были совершенно естественны, скажем, для пушкинской эпохи. Но употребление их в современной речи, несомненно, содержит дополнительную информацию о собеседниках: об их возрасте, уровне образованности, литературных вкусах, склонности к иронии и т. п. Пример:

> – Я предоставил вам право первой ночи, – озорно улыбнулся князь. – Правда, надолго вы в обители прелестницы не задержались. Когда вы покидали **сей** чертог, вид у вас был такой довольный, что я грешным делом взревновал (Б. Акунин. Статский советник).

К указательным местоимениям примыкают указательные наречия. В русском языке это *тут, там, тогда, столько* и т. п. Понятно, что синтаксическая роль в предложении у них другая, но набор коммуникативных функций – тот же, что у указательных местоимений. Некоторые из наречий имеют непосредственное отношение к нашей теме.

В частности, *тут* (*здесь*) и *там* могут в разговоре обозначать 2-е и 3-е лицо соответственно. Обычно это бывает тогда, когда говорящий не знает имени собеседника или того, о ком идет речь, либо не хочет ис-

пользовать прямые номинации (в том числе такие как *ты, вы, он, они* и т. п.). Типичны в этом отношении вопросы кондуктора в общественном транспорте: «**Тут** билетики?», «А **здесь** у всех есть билеты?» и т. п. Ср. цитату с *там* в значении 3-го лица:

Ругают Подругу и называют ее проституткой. При этом интересуются: «А она молодая?», давая понять тем самым, что я не молодая. Я отвечаю, что мы ровесницы. Тогда **там** удивляются и спрашивают: «А куда же ты смотрела?» (В. Токарева. Звезда в тумане; здесь *там* – описательное обозначение собеседника на том конце провода.)

Употребление *тут* и *там* часто направлено на сближение собеседников, на интимизацию общения. С одной стороны, с их помощью отграничивается личная сфера говорящего от «внешнего мира», а с другой стороны, собеседнику предлагается одобрить такое деление. Фактически в этих разговорных контекстах местоимения превращаются в частицы с экспрессивным значением, ср.: *Ты мне **тут** антимонии не разводи!*; *Ты **там** поосторожнее смотри, на улице.* Литературные примеры:

– Лизок, ты пойди с кем-нибудь, **тут** у нас приехал с юга один товарищ (Д. Гранин. Искатели; *тут* помогает выразить извинение и оправдание).

... – Ему не игрушка, ему товарищ нужен.

– Не знаю, что ему **там** нужно! – говорит мама. – Только все дети как дети сидят себе в углу и из желудей человечков делают (Э. Успенский. Дядя Федор, пес и кот; *там* отражает чувство недовольства и раздражения по отношению к близкому человеку).

Особенно многозначно в прагматическом отношении слово *там*. Оно, в частности, может показывать, что говорящему непонятно, неинтересно или неважно то, о чем идет речь:

Выдали нам что требуется: тулупы новые, две винтовки, шапки-малахаи, фонари **там** сигнальные... (Л. Кассиль. Огнеопасный груз; *там* указывает, что сигнальные фонари – один из многочисленных и маловажных предметов снаряжения.)

– Я ходила-ходила и вдруг захотела есть, а в лесу пахнет как в кондитерской. Полезу, думаю, на дерево. А **там** ка-ак захлопнется – и не пускает! (Я. Ларри. Необыкновенные приключения Карика и Вали; *там* использовано для обозначения непонятной сказочной силы.)

Очень важная роль *там* для обозначения всего запретного, неприличного, потустороннего – того, что связано с физиологией, сексуальной жизнью, болезнями и смертью. Литературные примеры:

– Как это говорится: все **там** будем, – шумно вздыхая, соглашаются два гостя сразу.

– Именно – «как это говорится», – соглашаюсь я. – А я, в сущности, завидую Ивану Семенычу!

– Да, – вздыхает толстяк. – Он уже **там**!

– Ну, **там** ли он – это еще вопрос… Но он не слышит всего того, что приходится слышать нам (А. Аверченко. День человеческий; *там* – ‘на том свете’).

«Какой ужас!» – воскликнула Светочка. «Рак», – подтвердил приятель. «Сначала **там** все вырезали, потом удалили одну грудь…» (А. Битов. Улетающий Монахов; *там* – о внутренних органах).

– Обидно за вас, Царапов. И сомнительно мне ваше будущее. […] Вы задумывались, как будете **там** ? И как потом ? (О. Лаврова, А. Лавров; *там* – ‘в заключении’).

Нина . Андрей, ты правду мне сказал? **Там** действительно все кончено? (А. Володин. Осенний марафон; *там* – жена о связи мужа с любовницей).

Пришла вторая телеграмма. **Там** решили заехать в Ставрополь (К. Воробьев. Вот пришел великан; *там* – женщина своему любовнику о его жене).

Очевидно, что во всех приведенных примерах *там* выступает как типичный эвфемизм, заменяя собой табуированные или просто нежелательные для данного микроколлектива названия.

Местоимения, как уже говорилось, по самой своей природе призваны замещать имена: существительные, прилагательные, числительные. Однако если мы принимаем понятие и термин *местоименные наречия*, то нет ничего удивительного и в том, чтобы выделять местоименные (или дейктические) глаголы. Имеются в виду максимально десемантизированные (точнее, лишенные денотата) слова, выполняющие в предложении роль сказуемого. Для русского литературного языка таковым можно признать глагол *делать* в контексте ‘*что он делает?*’ – с возможными ответами: *он работает / гуляет / спит / бездельничает / пишет книгу / уехал в отпуск / собирается уволиться* и т. д. «Глаголы *делать – сделать*, – пишет Н. Ю. Шведова, – означают любое действие или деятельность, исходящие от активно действующего субъекта или субъектов…» Последнее уточнение довольно важно, свидетельством чему может быть следующий исторический анекдот.

Императрица Екатерина обратилась к одному из своей свиты со словами:

– Пойдите посмотрите, пожалуйста, **что делает** барометр.

Тот поспешно отправился в комнату, где висел барометр, и возвратившись, доложил:

– Висит, Ваше Величество.

Очевидно, что вопрос «Что делает…?» требовал от сановника ответа о функционировании прибора, а не о его состоянии или местонахождении.

Но в качестве «местоглаголия» (выражение Л. Н. Засориной) в русской разговорной речи нередко выступает указательное местоимение *того* (по происхождению – форма косвенного падежа от *тот*). *Того* в роли сказуемого не только ограничено стилистически, но и подразумевает, скажем так, не очень положительную оценку говорящим обозначаемого действия. В этом, прагматическом, смысле его тоже можно рассматривать как эвфемизм. Типичные контексты для *того* в таком значении – это «сошел с ума», «пьяный», «испортился», «пропал», «потерял» и т. п. Но диапазон его значений этим не ограничен. Несколько литературных иллюстраций.

– Мало мне храма Афины, нет, надо еще сжечь этот дворец. Пароход своего имени я уже **того**, а теперь, значит… (В. Аксенов. Жаль, что вас не было с нами; здесь *того* – ‘сжег, уничтожил’).

Бородатый, нерешительно заглядывая в заднюю дверцу, сказал:

– А можно я здесь немножко **того**?..

Я перегнулся через спинку и помог ему расчистить место… (А. Стругацкий, Б. Стругацкий. Понедельник начинается в субботу; *того* – ‘устроюсь, размещусь’; по-видимому, просьба бородатого неуместна или нежелательна, потому что в машине и так мало места).

– Анюта в тот день, – сказал он, – ключей от сейфа **не того**… Ну в общем в сумке своей не обнаружила (А. Жаренов. Кладоискатели; говорящий использует *того*, чтобы не говорить сразу правду, по-видимому, потому, что эта правда ему неприятна).

– А можно вопрос задать? – неожиданно обратился ко мне Снегирев. – Это правда, что вас из милиции **того**? (А. Кивинов. Улицы разбитых фонарей; *того* – ‘выгнали’; сказать об этом прямо, по-видимому, неудобно или опасно).

Таким образом, как мы видели, местоимения, рассматриваемые под углом зрения прагматики, выражают множество разнообразных оттенков. Важнейшие из них группируются вокруг двух смысловых комплексов. Во-первых, они служат для выделения и обозначения личной сферы субъекта в противопоставлении остальному миру. И, во-вторых, они, участвуя в выражении разнообразной субъективной модальности, помогают наладить отношения в микроколлективе.

Кроме рассмотренных нами разрядов местоимений (личных, притяжательных, вопросительных и указательных), представляют интерес в

прагматическом отношении и другие местоимения – определительные, отрицательные, неопределенные. В частности, очень характерно употребление в речи неопределенного местоимения в сочетании с именем собственным, типа *какой-то Милосердов, некий Сидоров, некто Ричард Майер, какая-нибудь Дунька*… Местоимение здесь не только свидетельствует о недостаточной идентификационной силе имени собственного, но и выражает целый ряд дополнительных значений. В частности, оно может содержать сопоставительную оценку опыта говорящего и адресата: *некто Ричард Майер* значит ‘вам он неизвестен (а я-то могу его и знать)’; *какой-то Петров* значит ‘он себя назвал так, но я его не знаю, а, может, он и не стоит того, чтобы его знать’ и т. п. В среде неопределенных и отрицательных местоимений очень интересны также продуктивные экспрессивные образования, в том числе уменьшительные, вроде белор. *нештачка, нікалечкі, нічагусенькі, нікагусенькі, ніштаваты* и т. п. Определительное местоимение *всякий*, в отличие от его синонима *каждый*, легко развивает пейоративные оттенки (*Всякую дрянь в дом тащит!*; *Ходят тут всякие!*). Разумеется, в других славянских языках есть свои прагматические особенности употребления местоименных слов. Но все эти интересные случаи остаются за пределами наших лекций.

ЛЕКЦИЯ 5

ПРАГМАТИКА И ГРАММАТИКА (К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ)

Итак, прагматика есть та часть значения, которая рассчитана на конкретного адресата речи и учитывает его пол, возраст, статус, интересы, опыт, обстановку общения и т. п. Соответственно, она связана с возможностью **разного отношения говорящего** к собеседнику, к предмету речи, к обстоятельствам, в которых происходит общение. В этом плане тема «Прагматический аспект грамматики» может вызвать недоумение, ибо грамматика, с ее обязательно выражаемыми значениями, сравнительно редко предлагает говорящему (и слушающему) какую-то альтернативу в использовании флексий, суффиксов, синтаксических моделей и т. п.

Приведу здесь слова замечательного русского лингвиста и методиста Александра Матвеевича Пешковского: «Грамматика […] занимается переводом подсознательных языковых явлений в сознательные. Другими словами, грамматика как наука производит коллективными силами как раз то, что каждому надо проделать индивидуально, чтобы говорить на литературном наречии родного языка. При этом в отличие от лексики […] грамматика занимается наиболее укрытыми от нашего сознания явлениями языка…» (статья «Грамматика в новой школе»).

Здесь можно поспорить с тем, насколько грамматика вообще принадлежит сфере «сознательного». Для обычного человека, не лингвиста, выбор нужной формы и построение фразы в целом – преимущественно автоматизированный процесс, остающийся за пределами «светлого поля» сознания. Но что безусловно верно в приведенной цитате – это то, что грамматические явления носят **массовый** характер, они принадлежат целым классам слов. Скажем, *Анды* или *Кордильеры* – имена собственные (топонимы), привязанные к уникальным объектам. Но множественное число данных существительных вполне вписывается в характеристику грамматического класса pluralia tantum (это слова типа *сани, каникулы*

и т. п.). «Грамматическое значение, в отличие от лексического, не может быть "разовым", уникальным», – констатирует современный американский когнитивист Леонард Талми (L. Talmy).

В этом отношении роль грамматики невозможно переоценить: она категоризирует наше сознание, предлагая готовые образцы – инструменты познания действительности. Сталкиваясь с какой-то новой для себя ситуацией, человек уже имеет наготове языковые средства ее отображения. И это не только готовые названия (там, в крайнем случае, можно обойтись и словами-заменителями, вроде *это* или *штучка*), но и способы включения этих слов в контекст, и сами эти контексты, типа *кто – что – кому – где – зачем делает* и т. п. Лингвисты давно заметили, что если испытуемому предложить в качестве задания определить значение слова, то часто он начинает его выполнять, еще не уяснив себе самого значения, например, так: «Инсургент – это…», потому что грамматическая схема ответа у него уже есть. «Грамматика – это концептуализация», – такое определение дал грамматике еще один представитель когнитивного направления в современной лингвистике Рональд Лангаккер (R. W. Langacker, 2000); у этого автора есть целая книга, посвященная данной проблематике.

И все же, на мой взгляд, есть основания говорить о прагматическом аспекте как об очень важной составной части грамматического описания. Такой подход обусловлен несколькими факторами.

I. Противопоставление грамматического и лексического значений носит не эквиполентный, а градуальный характер. Иными словами, грамматическое явление по своей природе может характеризоваться разной **степенью грамматичности.**

Сравним хотя бы такие категории русской грамматики, как падеж и род: первая из них более «независима» от носителя языка, вторая – более обусловлена и обременена ассоциациями: мифо-поэтическими, гендерными и прочими. Так, в известной русской песне тонкая рябина мечтает, как бы ей «к дубу перебраться» – тогда бы она перестала «гнуться и качаться». Понятно, что в этом тексте с помощью существительного женского рода *рябина* и мужского рода *дуб* олицетворяются отношения женщины и мужчины. Потому же для русского человека упавшая на пол вилка знаменует приход женщины, а упавший нож – мужчины (см. монографию Я. И. Гина «Проблемы поэтики грамматических категорий»). Даже в известном по детской сказке «Конёк-Горбунок» заговоре: «Встань передо мной, как лист перед травой» – можно усмотреть гендерную, или, как некоторые утверждают, сексуальную оппозицию: *лист – трава*.

А вот свежий литературный пример. Жена ревнует, подозревая мужа в неверности. И когда тот в разговоре неосторожно упоминает сына соседки, жена немедленно хватается за новый след:

– Соседки?… – жена так готовно сошла со следа, что этим еще раз изумила Монахова.

– **Ложка, вилка, тарелка!.. Я постараюсь избегать теперь слов женского рода**, – ядовито сказал он.

– Было бы неплохо, – невозмутимо сказала жена (А. Битов. Лес).

Еще один пример на тему родо-гендерных ассоциаций (а вообще, в поэзии таких свидетельств множество):

Россия – **женщина и мать**
А вот Китай – **мужского рода**
Россией можно помыкать
Он же родитель есть народа

(*Д. Пригов.* Искренность
на договорных началах)

Конечно, три граммемы, представленные в рамках категории рода в русском языке, – мужской, женский и средний род – далеко не равноправны. И дело даже не в количественной несоразмерности соответствующих классов слов, а в их внутренней лингвопсихологической неравноценности. «Мужской род, – по словам Романа Якобсона, – в противопоставление женскому роду не содержит никакой спецификации пола». Таков «гендерный» взгляд на мир, закрепленный в русском языковом сознании. А именно: применительно к названиям лиц существительное мужского рода оказывается более «общим» и официальным наименованием, чем соответствующий фемининатив (существительное женского рода, обозначающее женщину). Есть звание «Лучший учитель года», но нет звания «Лучшая учительница». На Доске почета будет значиться «Повар такая-то», но не «Повариха такая-то». В этом отражается, с одной стороны, архаичная этика русского языка, а с другой – пределы его словообразовательных возможностей. Это чувствуют и обычные носители языка: в их глазах женский род имени выглядит «более специфично» и «менее солидно» по сравнению с мужским, а иногда соответствующий фемининатив просто невозможно образовать.

В следующей лекции мы к этой проблеме еще вернемся, а сейчас приведу только некоторые примеры. Вот в журнале «Огонёк» рассказывается, как компьютерщик подарил жене анимированного коня:

Подруги жены этот подарок не оценили: «Всучил какую-то лошадь? Что за чушь!» Но **жокей** чрезвычайно **довольна**, ведь коня она объезжает каждый день (Огонёк. 2007. № 5; *жокей* – это о жене).

В другом журнале женщина делится с читателями своими моральными принципами:

Я **однолюб**, и потому мне кажется, что настоящая любовь может быть только один раз в жизни. В своем браке я переживаю такие сильные и яркие

чувства, которые вряд ли смогут когда-либо еще повториться (Женский журнал. 2007. № 1; *однолюб* – это женщина говорит о себе; сказать *однолюбка* можно было бы только с потерей стиля).

Впрочем, мужчина в женском гендерном мире тоже чувствует себя неуютно. Известный литературовед рассказывает о годах учебы в Московском университете и вспоминает своих однокашников.

Святослав Георгиевич Котенко… **Одиннадцатый из** тринадцати **отличниц** нашей группы, а двенадцатым был я (Д. Урнов. Филологические фрагменты).

Д. Урнов мог бы совершенно нейтрально сказать: «Котенко был одиннадцатым из отличников нашей группы, а двенадцатым был я», и это вполне бы допускало наличие любого числа девушек в данной группе. *Отличник* – слово общего рода, так же как *учащийся* или *студент*. Но пишущий, называя себя и своего приятеля «отличницами», конечно же, делает это намеренно: во-первых, он напоминает, что подавляющее большинство студентов филфака – девушки, а во-вторых, говорит о филфаковских юношах с плохо скрываемой иронией.

Таким образом, мы убеждаемся, что род существительного (вкупе с соответствующими словообразовательными средствами) способен нести, кроме собственно грамматической, богатую дополнительную информацию!

Говоря о «разной степени грамматичности» того или иного явления, я имею в виду степень его обязательности и регулярности. Так вот, чем менее строгим, менее регулярным, менее укладывающимся в «матрицу» является грамматическое явление, тем больше в нем места прагматике. Всё, что в грамматике не нейтрально, стилистически окрашено, имеет особую обусловленность личностями говорящего и слушающего, в конце концов, все, что редко, – всё прагматика. Можно сказать, что вся периферия грамматики прагматически окрашена. Например, остатки вокатива в русском языке (*отче, старче, владыко…*) или глагольные формы, призывающие к совместному действию, типа *уничтожимте, присядемте* – предмет лингвопрагматики.

Далее, любой факт избыточности парадигмы, предполагающий **выбор** формы говорящим (например: *рукой* и *рукою*, *махает* и *машет* и т. п.), таит в себе возможность прагматического использования. Язык не любит форм, семантически дублирующих друг друга; одна из них, а то и обе, приобретают дополнительные оттенки. Очень показательны в этом плане так называемые некротизмы – мертвые, отжившие формы (для русского языка это старославянизмы или церковнославянизмы). Они обычно рассчитаны на определенного пользователя, т. е. несут на себе печать личностной ориентации языкового знака. Таковы, в частности, формы, упо-

минающиеся в устойчивых выражениях (фразеологизмах): *все в руце божьей; чего греха таить; ничтоже сумняшеся, почить в бозе; бодливой корове бог рог не дает; одним махом семерых побивахом, своя своих не познаша* и т. п.

К этому стоит добавить, что некоторые грамматические значения (например, неотчуждаемость признака или активность действия) не имеют своего собственного выражения и передаются средствами иных категорий – это так называемая **«скрытая грамматика»** (термин, введенный американским лингвистом Бенжаменом Ли Уорфом (B. L. Whorf)), – и эти случаи тоже могут использоваться в прагматическом аспекте.

Скажем, известно, что конструкции с зависимым существительным в родительном падеже без предлога могут обозначать в русском языке постоянное природное свойство – материал, размер, вес, цвет, вкус и т. п. – только при условии наличия определения. Сравним примеры типа: *глаза (голубого) цвета, мужчина (высокого) роста, рама (красного) дерева, фужер (богемского) стекла, шаровары (необъятной) ширины* и т. п. Невозможно сказать **глаза цвета, *мужчина роста, *рама дерева, *фужер стекла, *шаровары ширины.* Однако пределы этой лексической группы «природных параметров» устанавливаются в соответствии с некоторым архаичным представлением о мире. Если мы скажем: «Шуба беличьего меха» или «Вафли ягодного вкуса», то, кажется, переступим какие-то (неписаные!) границы – по сравнению с нейтральными конструкциями *шуба из беличьего меха* и *вафли с ягодным вкусом*. Тем более невозможны сочетания **ложка нержавеющей стали* или **улица асфальтового покрытия* – надо сказать: «Ложка из нержавеющей стали» и «Улица с асфальтовым покрытием…»

Любопытно, что обычный носитель языка не способен сформулировать правила употребления беспредложного родительного падежа со значением природного свойства – но сам он поступает в полном соответствии с этими правилами! Вот еще пример. Мы легко скажем о серых глазах: «Глаза серого цвета». Но о красных глазах (*Что это у тебя глаза такие красные? Наверное, читал всю ночь?*) нельзя сказать: «Глаза красного цвета». Тут *красный* – непостоянный (т. е. не природный) признак, он характеризует не зрачки, а белки глаз!

Получается, что говорящий и слушающий обладают некоторыми пресуппозитивными знаниями о том, какие именно свойства и каких предметов могут выражаться через форму зависимого родительного падежа. И если говорящий балансирует на грани допустимого или переступает этот запрет (примеры см. выше), то тем самым он выражает свое отношение и к явлениям объективной действительности, и к своему собеседнику.

II. Как бы в продолжение тезиса о разной «степени грамматичности» напомню о том, что грамматическое значение всегда имеет под собой определенную **лексическую базу**. Скажем, грамматическое значение времени существует на базе глаголов, а значение одушевленности – на базе существительных мужского и женского рода. Эта база может быть шире или уже, иногда она вообще представляет собой какую-то группу слов, но действие грамматического правила всегда осуществляется в некоторых пределах (наиболее это очевидно в случае с исключениями). Подкреплю данный тезис следующей цитатой: «Трудно найти правило в отношении образования какой-либо морфологической формы, которое не знало бы ограничений, связанных именно с лексической семантикой слов. Грамматическое значение формы должно быть совместимо с лексическим значением слова, только тогда может беспрепятственно возникать словоформа» (Е. И. Шендельс, 1982).

«Столкновение» грамматического значения с лексическим работает на руку прагматике: оно почти автоматически рождает дополнительные смыслы. Приведу пример. Существительное *кусок* – мужского рода, неодушевленное, и слово *окурок* – тоже. Их значения и правила их синтаксического поведения нам хорошо известны. Но вдруг мы читаем в книге:

> Однажды кусок колбасы, гуляя в морских просторах, навестил**а** окурк**а** и сказал**а** ... Кусок колбасы присел**а** ненадолго, пухл**ая** и розов**ая** (Л. Петрушевская. Морские помойные рассказы).

В том же собрании смешных историй, замечу, встречается и *рыба господин Собака сказал*, и *улитка Герасим прогуливался,* и *изумленный бабочка Кузьма пришел*, и многое другое. Мы понимаем, что в сказке возможно всё. Здесь допустима анимизация («очеловечивание») окурка, в соответствии с чем это существительное становится одушевленным (в винительном падеже: *навестила окурка*), да и кусок колбасы окказионально, для данного случая, может получить женский род. В конце концов, мы же говорим: «Наша врач пришла!» (А чем *пухлая и розовая кусок колбасы* хуже, чем *пухлая и розовая врач*?) Но при этом мы ни на секунду не забываем, что перед нами – «ненастоящий» род и «ненастоящая» одушевленность. Это своего рода игра.

Приписывание слову «чужих» грамматических значений служит наведению определенных лингвопсихологических мостов между говорящим и слушающим. Я допускаю, что есть люди, которые, прочитав строку «Кусок колбасы навестила окурка и сказала…», не станут читать дальше, а с возмущением и осуждением захлопнут книгу. Это написано не для них. Не соответствует их представлению о литературном тексте – или о



Шарль Балли

правилах употребления языка. Хотя подобная свобода в использовании грамматических форм в народе бытовала всегда. Вот в своем «Толковом словаре живого великорусского языка» Владимир Даль фиксирует такое выражение: «Лапоть знай лаптя, сапог сапога!» И добавляет: «замечателен винительный падеж». Действительно, замечательный: благодаря окончанию *-а* (*-я*) мы понимаем, что речь здесь идет не о разновидностях обуви, а о социальном статусе людей!

Известно: говоря на каком-то языке, мы принимаем его грамматические условия, подписываем данную «конвенцию». И какие-то правила, осмысленные на первоначальном этапе, со временем автоматизируются, становятся частью «языковых техник». Примером может послужить соотношение форм рода и падежа, о котором Шарль Балли (Ch. Bally, 1926) писал так: «В некоторых нецивилизованных языках женщины в отношении категории рода поставлены на уровень неодушевленных предметов. Это чудовищно. […] Человека, быка, коня убивают в генитиве; разрушают дом, посылают стрелу, бросают грязь в аккузативе. Самое забавное в этой истории – то, что женщина отнесена к неодушевленным предметам: ее нельзя убить, как быка – в генитиве; она имеет право только на аккузатив, как грязь. Женщины могут иметь право на генитив, только если их много: количество компенсирует качество. […] Вы скажете: “Какой примитивный язык!” А ведь это язык Тургенева и Толстого».

Речь в этой иронической цитате идет о категории одушевленности в русском языке. Действительно, эта категория условна, она имеет непрямое отношение к «живости» существа. Мы скажем, например, *видеть покойника* (одушевленное существительное), но *видеть труп* (неодушевленное). Мы задумаемся, как сказать: *изучать микробов* (одушевленное существительное) или *изучать микробы* (неодушевленное). Однако возможности ее прагматического использования чрезвычайно широки, они касаются не только отношения говорящего к предметам, но и его отношений с другими людьми. Вот еще один пример, из диалога супружеской пары.

– Мне не нравится твой **лексикон**.

– …Он меня устраивает, всех устраивает, и тебя он устраивал до сегодняшнего вечера, ты за него замуж вышла, между прочим, **за лексикона** (Н. Давыдова. Сокровища на Земле).

Столкновение грамматического и лексического значений проявляется и в сфере синтаксиса. Скажем, для предиката *смеяться* типично заполнение позиции первого актанта (то есть субъекта) существительным со значением лица: *Маша смеялась*. Это так называемая изосемическая кон-

струкция: синтаксическое и лексическое значения соответствуют друг другу. Нарушение такого соответствия (например, в цитате из М. Горького «Море смеялось») преследует какую-то дополнительную цель. Перед нами художественный прием, метафора, и механизм ее прозрачен. Достаточно на практике экстраполировать, перенести готовую синтаксическую модель на «нетипичную» для нее лексику – сказать, положим, не «Кто девушку угощает, тот с ней и танцует», а «Кто девушку угощает, тот **ее** и танцует» – и мы получим определенный прагматический эффект. Ср. цитату:

…Кто денежки платит, тот **девочку** и **танцует** (Д. Донцова. Принцесса на кириешках).

Чтобы понять такое предложение, надо или приписать слову *танцевать* какой-то особый смысл (‘использует’ и т. п.), или, сохраняя за этим глаголом традиционное значение, придать особую значимость конструкции с прямым дополнением (ведь не случаен этот синтаксической параллелизм: *платить – денежки, танцевать – девочку*). Естественно, при этом говорящий выходит за пределы литературной нормы и насыщает свое высказывание дополнительной экспрессией.

III. Постоянное развитие языка приводит к тому, что в один и тот же период в нем соседствуют **отмирающие и нарождающиеся явления.** Это создает конкуренцию средств, в том числе грамматических, и возможность их выбора для носителя языка. Как сказать по-русски: *лошадьми* или *лошадями*, *корпусы* или *корпуса́*, *двести граммов* или *двести грамм*, *пусть его отдыхает* или *пусть он отдыхает*? Если воспользоваться более общими категориями, это означает: что лучше – быть верным традиции или же хорошо чувствовать нарождающуюся тенденцию, за которой будущее?

Знаменитое стихотворение А. С. Пушкина «Памятник» («Я памятник себе воздвиг нерукотворный…») оканчивается такими строками:

Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не **оспоривай** глупца.

Пушкин пишет – «не оспоривай». Сегодня мы бы сказали безусловно – «не оспаривай». Но значит, был период, когда носитель русского языка колебался и сомневался, как сказать: «оспоривай» или «оспаривай?» И какую бы форму он ни выбрал, она несла на себе дополнительную печать, сигнализировала слушающему, кто перед ним – «архаист» или «новатор». Конечно, обычный человек, не лингвист, может и не знать, какой из вариантов – «старый», а какой – «новый». Но выбирать-то он должен! Таким образом, в каждый конкретный момент проекция языкового факта на его «ближнюю историю» создает оценочный момент и, соответственно, прагматический аспект значения.

Используя в своей речи архаичные (или некротические) формы, говорящий как бы надевает на себя особую речевую маску. К примеру, глагольная связка *суть* в современном русском языке уже не столько несет в себе значение 3-го лица множественного числа, сколько сообщает тексту определенную стилистическую окраску, ср.:

> ...И ты уже просто становишься автором, а рукопись твоя **суть** входящая рукопись, которую следует обработать, по меньшей мере пронумеровать и написать внутреннюю рецензию (В. Аксенов. Пора, мой друг, пора...).

Но подобное словоупотребление, очевидно, по-своему регулирует и отношения между говорящим (писателем) и читателем.

IV. Бывают ситуации, когда носитель языка заведомо (преднамеренно) идет на **нарушение грамматического правила**. В частности, мы уже видели, что говорящий может отдавать предпочтение «чужой» (не той, что нужно) форме, нарушать правила управления или согласования и т. п. Примеры этого многообразны, особенно в разговорной речи и в художественной литературе: *Местов нет* (в интеллигентской речи); *Подтвердю это следующим образом; Пейте соков натуральных, расширяет в грудь и в плечь...; Я лежу на животе с папиросою во рте...* т. п. Обычно при этом говорящий рассчитывает на какой-то эстетический и, вообще говоря, прагматический эффект. (Отмечу при этом, что еще задолго до появления прагматического направления в лингвистике представителями различных школ признавалось, что грамматическая правильность и неправильность могут иметь разную степень.)

Рассмотрим один пример. Реплика из кинофильма «Кавказская пленница»: «*Чей туфля?*» – «*Моё!*» – стала уже крылатой – и не потому, что она намекает на конкретные проблемы русской грамматики, а потому, что в ней заключена игра с языком! Суть здесь в том, что для некоторых существительных в русском языке, в частности названий обуви, характерны колебания в роде. Эти существительные чаще всего употребляются в форме множественного числа (*туфли, кеды, кроссовки, тапочки, ичиги, берцы...*). Фактически именно эта форма становится для них исходной. Поэтому, когда носителю языка нужно образовать форму единственного числа, он оказывается в затруднении. Скажем, до тех пор, пока ботфорты были фактом истории и мы о них читали в романах, нас не интересовал род этого слова. Но как только они стали деталью модной одежды, женщинам пришлось задуматься: как сказать – *моя левая ботфорта* или *мой левый ботфорт*? А вот и литературное свидетельство подобных колебаний:

> И вы поднимаетесь... не попадая ногой в кроссовки, тем более что один **кроссовок** (одну **кроссовку?**) этот негодяй куда-то уволок... (Д. Рубина. Чем бы заняться?).

Так и в приведенном выше примере из кинофильма: выбор формы *моё* (на фоне колебаний *моя туфля / мой туфель*) – это или признание

говорящим своей беспомощности, или сознательное речевое озорство!

Еще пример. В русскоязычной версии журнала «GO express» целая полоса отдана красочной рекламе эстонского напитка «Vana Tallinn». Но краткий русский текст гласит: «**Вечное молодость**. Высококачественный эстонский ликер». И вряд ли это ошибка (опечатка): слишком хорош для этого журнал – качественная бумага, глянец, многокрасочная печать… Скорее перед нами сознательный прием. Наподобие перевернутой вывески или латинских букв, вставленных в русскоязычное название, он должен произвести особое впечатление. Значит, нарушающий правила рассчитывает на какой-то юмористический или – шире – эстетический эффект. И расчет делается на такого читателя, который способен оценить подобную игру. Но в этом, по сути, и заключается прагматика! Нередко для того, чтобы описать функционирование какого-то грамматического явления, нужно оговорить круг людей, использующих это явление в своей речи, то есть указать на его социолингвистическую базу.



Рекламный плакат

Прагматически значимым может быть также общее «недостаточное количество» грамматики по отношению к стандарту или вообще ее отсутствие. И я не говорю здесь о речевых расстройствах, связанных с психикой, о различных видах афазии. Я имею в виду, например, некоторые жанры научно-технического текста, отрицающие обычную синтаксическую организацию – такие как набор ключевых слов или поисковый образ документа. Грамматическое устройство подобного текста как бы подразумевает определенного (квалифицированного и привычного) читателя. Даже когда мы в самой обыденной ситуации заняты разгадыванием кроссворда, мы принимаем условия жанра: здесь могут участвовать только имена существительные и только в исходной форме!

Стоит упомянуть также о так называемом телеграфном стиле, который широко используется в художественной литературе для того, чтобы отобразить поток сознания. Как минимум в таком тексте отсутствуют знаки препинания, как максимум текст становится «рассыпчатым», фрагментарным, с обилием вставных и незаконченных конструкций, вся смысловая последовательность держится на цепочке ассоциаций. Покажу это на двух примерах:

> она вся старая страшная я не хочу быть старухой милый нет не хочу я знаю я скоро умру на рельсах я я мне больно мне будет больно отпустите когда умру отпустите эти колеса в мазуте ваши ладони в чем ваши ладони разве это перчатки я сказала неправду я Вета чистая белая ветка цвету не имеете права я обитаю в садах не кричите я не кричу это кричит встречный… (С. Соколов. Школа для дураков).

Вот именно что. Ветер. День. Еще вчера бестрепетный и тусклый. Жара купания. Сегодня ветер. Ревет и стонет. Волны в море льдины. Как льдины. Барашки белые на ультрамариновом, как льдины. Это образ. Художественный образ. Образы не Образа. Это ветер ветку клонит. Ветка лопается. Звук хруста. Бом-м-м. Ударил колокол. Волна накатывает. Брызги влево. Брызги вправо. Брызги вверх. Волна вниз. Ветра ком. Ком ветра в глотку. Ком вон. Ком цурюк. Тент полосатый. Изгиб гриба обратно… (Е. Попов. Мастер Хаос).

Как мы видим, способы графического оформления такой речи могут быть разные (со знаками препинания и прописными буквами или без таковых), но общим остается ассоциативная «покадровость» изложения, внешняя бессвязность текста и недостаточное использование грамматических (морфологических) форм.

Кроме того, что аграмматичность текста может преследовать специальные эстетические задачи, добавлю, что причина может скрываться в недостаточном владении языком – это высказывания, принадлежащие иностранцам (по образцу *Моя твоя не понимай*). Пример:

Буду делать **один маленький фантазия**, – говаривал знакомый француз, разбавляя советский березовый сок водопроводной водой. **Фантазия** у месье **был**, действительно, **небольшой. Несмелый** (Т. Толстая. Изюм).

«Один маленький фантазия» в устах француза легко объяснимо: человек «недоучил» русский язык. Но «фантазия был небольшой, несмелый» в авторской речи – это уже совсем другое. Это сознательное ироническое обыгрывание рассогласования, особенно явное по соседству с номинацией *месье* и фактом разбавления водой березового сока…

Итак, возвращаясь к исходным положениям, можно согласиться с тем, что «ведению грамматики принадлежит все, что представляет собой регулярные образования» (И. Г. Милославский, 2008). Но даже исследуя функционирование форм, представляющих типичные грамматические категории – такие как падеж, мы можем прийти к выводу, что «регулярность выражения словоизменительных значений – это относительная (градуальная), а не абсолютная характеристика» (И. А. Мельчук, 1997).

Впрочем, И. А. Мельчук находит еще в языках разного типа явления, которые он называет квазиграммемами. Это «значения, выражаемые регулярно, но не обязательные; не входя ни в какую словоизменительную категорию, они должны были бы считаться дериватемами [фактами словообразования. – *Б. Н.*], если бы не их непременная регулярность. Во всех остальных отношениях они больше похожи на граммемы: они абстрактны, обнаруживают неограниченную или по крайней мере достаточно широкую сочетаемость, имеют стандартные средства выражения, фигурируют в синтаксических правилах и никогда (или почти никогда) не амальгамируются с лексическими значениями…» («Курс общей морфологии»). Квазиграммемы как маргинальная область словоизменения – еще один «мостик» между лексикой и грамматикой.

Весьма показательно в этом смысле образование **диминутивов** (слов с уменьшительно-ласкательным значением) в славянских языках. Понятно, что эти слова далеко не всегда обозначают маленькие предметы и даже не всегда передают отношение говорящего к этим предметам. Скажем, когда мы просим в автобусе: «Передайте на билетик» или «Пробейте талончик», то за использованием уменьшительного суффикса стоит не отношение к билету или к талону, а отношение к собеседнику – явно прагматическая цель. Это вежливая просьба, только слова *пожалуйста* или *будьте добры* здесь заменяются (или дублируются) суффиксом -*ик*.

Кроме того, словообразовательные средства, с помощью которых образуются диминутивы, семантически неоднородны. Скажем, русский суффикс -*еньк-/-оньк-* привносит в значение оттенок жалости и умиления: *деревенька, березонька*, а -*ечк-/-очк-* – удовольствия, приветливости: *кошечка, веточка* (соответственно «минорное» и «мажорное» значения, по Л. Л. Федоровой). Особо важны подобные образования, когда они выступают в функции обращения – я имею в виду уменьшительные личные имена. Подробно имена с суффиксами экспрессивной оценки (в польском и русском на фоне английского) рассмотрены Анной Вежбицкой. При этом она учитывала не только общепринятые варианты типа *Катька, Катенька* или *Катюша* (от *Катя*), но и такие как *Катюха*, *Катёнок*, *Катёныш* и т. п. Несомненно, употребление этих словообразовательных моделей требует соответствующих условий и имеет под собой определенную социолингвистическую базу. Кстати, по опубликованным данным, женщины используют в своей речи в полтора раза больше диминутивов, чем мужчины.

Но в каждом языке употребление диминутивов сопровождается своими особенностями. Например, в современном чешском диминутивы образуются практически без ограничений от любого существительного – как конкретного, так и абстрактного. Конечно, и в русских текстах можно встретить какое-нибудь *удовольствьице* или *любовишка* (я помню, как вначале резало слух название телевизионной программы «Времечко»). Но в чешском такое словообразование кодифицируется литературной нормой. По своей регулярности оно приближается к словоизменению (вспомним то, что говорилось только что о квазиграммемах). Ср. чешские слова и их буквальный перевод на русский: ideálek «идеальчик», smyslíček «смыслик», radůstka «радостенка», teplíčko «теплишко»,



Анна Вежбицкая

neštěstíčko «несчастьице», prosbíčka «просьбишка», bolístka «болезнишка», zdvořilůstka «вежливостишка» и т. п.

В. Ф. Васильева, из статьи которой взяты чешские примеры, видит здесь такую связь: «Высокая лексическая плотность прагматического пространства в чешском языке может служить доказательством особой склонности языка к выражению оценочных значений». Я бы сказал наоборот: регулярность образования и активность употребления диминутивов говорит об особой, воспользуюсь той же метафорой, «плотности прагматического пространства». Если какая-то словообразовательная модель очень продуктивна, то она как бы исподволь навязывает себя носителю языка, заставляет чаще себя использовать. Однако подобная словообразовательная регулярность приводит к неожиданному результату. Если какая-то оценочная коннотация выражается в речи слишком часто, то она психологически обесценивается, «приедается», теряет свою экспрессивную силу. Поэтому многие «чешские примарно оценочные имена развивают новые, стилистически нейтральные значения». Например, у существительного košilka (производного от košile ‘рубашка’) наряду с ‘рубашечка’ появляется значение ‘распашонка’, у sklenička (производного от sklenice ‘стакан’) наряду со ‘стаканчик’ – значение ‘рюмка’, у pytlík (производного от pytel ‘мешок’) наряду с ‘мешочек’ – значение ‘пакет’, у mistička (производного от mísa ‘миска’) наряду с ‘мисочка’ – значение ‘блюдечко, розетка’ и т. д.

Это говорит о том, что язык поддерживает свою функциональную адекватность и дееспособность за счет перераспределения семантического потенциала, приданного той или иной части речи. Некоторое «равновесие», гармоничность отношений между информационной и эмоционально-экспрессивной миссиями языка, конечно, должны соблюдаться.

Другая прагматически чувствительная и вместе с тем относительно регулярная область словообразования – **феминитивы,** существительные, обозначающие лиц женского пола. Названия женщин, производные от названий мужчин, нередко «снижены» по своему статусу – об этом уже шла речь. Анна Ахматова не терпела по отношению к себе определения *поэтесса*, она признавала только слово *поэт. Профессорша, директорша, врачиха* – явно разговорные номинации. В принципе так по-русски сказать можно, только когда, где, кому? Совершенно невозможно себе представить, чтобы на двери поликлиники была официальная вывеска «Врачиха принимает…». Такова сложившаяся система русского языка.

Существуют, однако, языки, в которых образование феминитивов значительно более регулярно, чем в русском. К их числу относится, в частности, тот же чешский. Здесь можно сказать и docentka ‘доцент’ (о женщине), и dirigentka ‘дирижер’ (о женщине), и fililožka ‘филолог’ (о женщине), и pedagožka ‘педагог’ (о женщине) и т. п. Однако в данном случае

нельзя говорить об абсолютной равноценности данных образований по функциональной нагрузке существительным мужского рода docent, dirigent, fililog, pedagog. Тонкие стилистические или социолингвистические различия – это та узкая щель, через которую со временем просачиваются богатые и разнообразные прагматические оттенки.

Но если говорить о прагматическом аспекте словообразовательных моделей, то здесь, конечно, самый яркий случай – это дериваты с **экспрессивной** коннотацией. В частности, в современной русской разговорной речи, не говоря уж о жаргонах, появляется огромное количество слов, в которых суффикс не несет с собой ничего кроме яркой экспрессии. Семантически он «пуст», но прагматически – чрезвычайно значим! Таковы слова вроде *невезуха* ‘невезенье’, *депрессуха* ‘депрессия’, *банкетуха* ‘банкет’, *дозняк* ‘доза’ (обычно о наркотиках), *верняк* ‘наверняка’, *нормалёк* ‘нормально’, *лобешник* ‘лоб’, *цепура* ‘цепь’, *труселя* ‘трусы’, а также имена собственные типа *Вован* ‘Вова’, *Толян* ‘Толя’ и т. п. Литературная иллюстрация:

> Но знать много слов совершенно не обязательно. Мальчишки в нашем классе вполне обходятся шестью словами: **точняк**, **нормалёк**, **спокуха**, не кисло, резко, структура момента (В. Токарева. Самый счастливый день (рассказ акселератки)).

Таким образом, оказывается, что недостаточно быть знакомым с системой словообразования и словоизменения языка – нужно еще знать, **как применять** эти единицы. Прагматика – своего рода свод ноу-хау, «инструкций по употреблению» в языке. Причем все эти общие основания в каждом из славянских языков преломляются по-своему, в соответствии с его структурными, социальными и стилистическими особенностями. В качестве примеров «прагматически чувствительных» сфер славянской грамматики можно было бы привести склонение многочленных составных числительных и употребление глагольно-именных сочетаний (типа *осуществлять продажу*) в русском языке, употребление деепричастий на *-айки/-ейки* и звательной формы в болгарском, особенности использования собирательных существительных и форм сослагательного наклонения в чешском, противопоставление лично-мужских и нелично-мужских форм множественного числа в польском, употребление действительных причастий и конкуренцию падежных форм в белорусском (*форм* или *формаў, вёсен* или *вёснаў* и т. п.) и т. д.

В целом же грамматика, как мы видим, не лишает говорящего принципиальной возможности выбора единиц, и потому данная сфера также обладает прагматическим аспектом. В том числе это относится и к единицам со словоизменительным значением. Далее мы рассмотрим под этим углом зрения отдельные лексико-грамматические классы слов: существительные, глаголы и прилагательные.

ЛЕКЦИЯ 6

ГРАММАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ ИМЕНИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО (РОД, ЧИСЛО, ПАДЕЖ) И ИХ ПРАГМАТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

Обратимся теперь к морфологическим категориям имени существительного и их использованию в прагматическом аспекте.

Категория рода. Как уже отмечалось, категория рода в славянских языках – не «чисто» грамматическая. Она словоизменительная для прилагательных и причастий (их род зависит от существительного, с которым они согласуются) и классификационная – для существительных (каждое существительное «приписано» к одному из трех родов). В то же время исторические корни рода, его связь с биологическим полом позволяют наполнять родовые формы метафорическими (анимизационными) оттенками. Об этом уже шла речь в предыдущей лекции. Но следует подробнее показать, каким образом грамматический род обслуживает сферу прагматики.

Прежде всего условный характер рода, его синтаксическая (согласовательная) сущность позволяет говорящему и слушающему вести многообразную игру, основанную на столкновении формальных и семантических признаков. Она представлена, в частности, в следующих примерах:

Mea culpa, mea culpa, как говорит **римская папа**… То есть он римский папа, а я его называю «Римская папа» (Ф. Достоевский. Идиот).

А парнишечка обернулся ко мне и отвечает […] Вот, думаю, **какая парнишечка** попалась (М. Зощенко. Счастливое детство).

Зазвонили к ужину. Алексей Никитич пошел взглянуть, спит ли **бесценное Гаврило** (Л. Леонов. Дорога на океан).

А знаете, что это такое! Гордыня бесовская, вот что! Люди погублены, сам горю, зато сколь чист! Гер-рой! **Ринальдо какое**! (В. Дудинцев. Белые одежды).

Во всех этих цитатах прилагательное согласуется с определяемым существительным по формальному признаку (окончанию), а реальный пол лица не учитывается – он как бы обесценивается.

Чрезвычайно богатая сфера языковой игры и, соответственно, прагматических оттенков – это обозначение лиц с помощью существительных так называемого **общего рода**. В классическом случае это слова, которые могут употребляться безотносительно к реальному полу обозначаемого лица: *судья, бедняга, умница, ханжа, неряха* и т. п. (формально эти слова похожи на существительные женского рода 1-го склонения), а также *врач, директор, инспектор, академик, жокей* и т. п. Причем круг таких «двуполых» существительных ограничен нежестко – вот он и может окказионально расширяться. Ср. примеры:

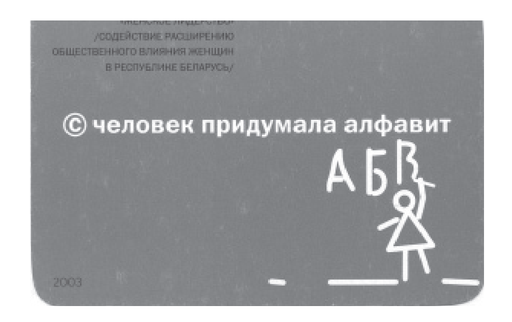
Но **посетил** его только **сестра-хозяйка**: бесшумно сервировал стол и пропал... (Д. Иванов, В. Трифонов. Кум королю).

– Не надо мне шить антисемитизм, – продолжал бушевать Мутафов. – У меня **бабушка еврей**! (И. Олейников. До встречи в «Городке»!).

Впрочем, если **объект** зависти **молода и красива**, то переживания еще сильнее (М. Шишкин. Венерин волос).

Выясняется, что в идеологическом отношении международный **лауреат «подкачала»** (Д. Рубина. Чем бы заняться?).

В моей картотеке примеров из художественной литературы есть цитаты, в которых женщина, говоря о себе, применяет такие обозначения, как *холостяк, баламут, перестарок, меланхолик, дальтоник* и т. п. Одна из недавних образовательных программ ЮНЕСКО по-русски называлась, можно сказать, провокационно: «Человек придумала алфафит». Имелась в виду та роль женщины в истории цивилизации, которая никак не отражена в грамматическом роде слова *человек*. В книге Л. В. Зубовой «Современная русская поэзия в контексте истории языка» приводятся многочисленные другие примеры на расширение категории слов общего рода, типа *дворник приготовила метлу, леопард пи-*



Плакат Программы развития ООН
в Республике Беларусь
«Женское лидерство» (2003 г.)

тье лакала, меня медведь вскормила грудью и т. п. А стремление дифференцировать пол животного приводит к появлению в речи таких образований, как *антилоп, обезьян, макак, такс, мыш, моржа, клопа* и т. п. – соответствующие примеры также нетрудно найти в художественной литературе.

Получается, что если в реальной жизни разница между существом мужского и женского пола для нас в большинстве случаев очевидна, то в языке это противопоставление становится условным, относительным, и говорящий и слушающий могут сколь угодно долго балансировать на этой грани. Предпосылками к этому могут быть и феминистская идеология, и желание скрыть (или, наоборот, точнее обозначить) пол существа, о котором идет речь, и просто-напросто стремление к речетворчеству. Внутриязыковой предпосылкой может считаться также незакрытость и нестрогая очерченность подкласса существительных общего рода и различные возможности его согласования с прилагательными и глаголами.

Но если мужским и женским родом еще дозволено как-то манипулировать, то использование среднего рода, наименее мотивированного с точки зрения пола (недаром его белорусское название – *ніякі*), вообще выводит человека за пределы нормы. По рассказам, граф Безбородко говорил об одном из своих чиновников: «Род человеческий делится на *он* и *она*, а этот – *оно*». А вот и литературный пример:

...Наверно, я здорово смахивал на черта или на какое-нибудь подземное чудовище, потому что она совсем потеряла рассудок и стала кричать на меня так, как будто я был **имя существительное среднего рода**.

– **Пошло** вон! **Пошло** вон отсюда! Вон **пошло**! (В. Драгунский. Удивительный день).

Как уже говорилось, грамматический род для существительных – категория постоянная: он относит имя к одному из трех классов. Однако в некоторых случаях наблюдаются **колебания в роде**. Особенно склонны к этому существительные с основой, заканчивающейся на мягкий согласный: *мозоль, псалтырь, тюль, шампунь, лебедь, путь* и др. Некоторые из них меняли свой род в истории литературного языка, другие демонстрируют колебания в разговорной и диалектной речи. Попадают такие отклонения от нормы и в художественные тексты:

Теперь **одна путь** – жаловаться (К. Г. Паустовский. Повесть о лесах).

Иногда формы рода располагают **вариантами**. Например, у существительных среднего рода на *-ие* в русском языке может быть фонетический вариант с *-je*: *любование – любованье, томление – томленье, покрытие – покрытье, пение – пенье.* Однако назвать эти варианты равноценными нельзя: второй из них носит обычно разговорный или даже

просторечный характер. Кроме того, происходит определенная идиоматизация: варианты на *-ие* и на *-je* часто расходятся семантически. Скажем, *воскресение* имеет одно значение (термин христианской веры), *воскресенье* – другое (день недели). Говорят также *сидение без дела*, но *сиденье стула, гуляние по улицам,* но *народное гулянье* и т. д.

Если отдавать себе отчет в том, что грамматический род – согласовательная категория и значение его условно (недаром во многих языках рода как такового просто нет), то количество родов в языке может быть самым разным. В частности, известный российский языковед Андрей Анатольевич Зализняк обнаруживает в русском языке семь родов как согласовательных классов (в том числе к особому классу он относит pluralia tantum, слова типа *каникулы* или *детишки*).

На этом фоне не должно вызывать удивления, что в польской грамматике традиционно выделяется пять родов. Правда, разные авторы их по-разному обозначают, но суть здесь в следующем. Кроме привычных для нас мужского, женского и среднего рода, в польском различаются во множественном числе еще два особых рода: «мужско-личный» (rodzaj męskoosobowy) и «немужско-личный», или «женско-вещный» (rodzaj niemęskoosobowy, или żeńskorzeczowy). Основания их образования таковы. Для того чтобы слово во множественном числе приняло форму лично-мужского рода, оно должно обозначать группу мужчин или группу лиц, в состав которой входит хоть один мужчина. В противном случае используется форма женско-вещного рода. (Понятно, что в глубокой древности это закрепляло особый статус мужчины в обществе.) Различие в мужско-личном и женско-вещном роде проявляется в согласовании с прилагательными и глаголами. В частности, в следующем примере прилагательное tutejszy ‘здешний, местный’ во множественном числе принимает различную форму в зависимости от того, согласуется оно с названием человека (людей) или названием вещи (дела):

> Zajmowało ją tylko to, co było teraz – właśnie **tutejsi** ludzie i **tutejsze** sprawy (Z. Nałkowska. Niedobra miłość; ‘Ее занимало только то, что было сейчас – именно здешние люди и здешние дела’).

На практике разграничение мужско-личного и женско-вещного рода приводит к некоторым казусам. К примеру, «ангел» по-польски *anioł*; а как сказать об ангелах во множественном числе – anieli или anioły, есть ли у них признак «мужскости»? Небезразлично это противопоставление и в психологическом плане. Скажем, если преподаватель в Польше входит в студенческую аудиторию, то он может обратиться к собравшимся: Szanowni Państwo (если там присутствует хотя бы один мужчина) или Szanowne Pani (если публика состоит только из женщин). Первое обращение, казалось бы, более специфично: оно свидетельствует о том, что преподаватель

обратил внимание на половой состав аудитории. На самом деле оно как раз более безлико и стереотипно (потому что обычно среди студентов есть и мужчины, и женщины). А вот второе обращение, наоборот, показывает, что говорящий учитывает половую специфику собравшихся.

Показателен в данном отношении и следующий пример из газеты.

> Dlatego **postanowiliśmy** (bo w naszej Federacji są również panowie) połączyć nasze wysiłki (Rzeczpospolita. 1994.26 października).

Автор, сама женщина, рассказывает о создании Федерации в защиту прав женщин, но вынуждена особо оправдывать употребленную ею глагольную форму мужско-личного рода: ‘Мы постановили [форма указывает на участие мужчин. – *Б. Н.*] (так как в нашей Федерации принимают участие и мужчины) объединить наши усилия’.

Но это еще не все. Некоторые польские существительные, обозначающие мужчин (или «в том числе мужчин»), регулярно образуют форму множественного числа с помощью… окончания женско-вещного рода. Таковы, например, bandzior ‘бандит, головорез’, cham ‘хам’, gaduła ‘болтун’, grubas ‘толстяк’, grzebała ‘копотун’, koniokrad ‘конокрад’ и т. п. Обратим внимание на то, что в значении всех этих слов присутствует негативная оценка! Через окончание рода передается неодобрение или презрение – чисто прагматическое значение.

А еще некоторые существительные в польском языке допускают во множественном числе варьирование: они образуют соответствующие формы или с помощью «мужско-личного», или с помощью «женско-вещного» окончания: łobuz ‘озорник, негодяй’ – lobuzi или łobuzy, samouk ‘самоучка’– samouki или samoucy, idiota ‘идиот’ – idioci или idioty, chuligan ‘хулиган’ – chuligani или chuligany, kretyn ‘кретин’ – kretyni или kretyny, chłop ‘мужик’ – chłopi или chłopy и т. п. Причем согласование глаголов или прилагательных происходит строго в соответствии с родом существительного, например: Łobuzi przyszli, но Łobuzy przyszły. И опять: женско-вещная форма везде несет дополнительную экспрессию, подчеркивая социальную неполноценность человека, его несоответствие норме (J. Zieniukowa). Так грамматическая категория участвует, по сути, в формировании лексического значения.

Категория числа. В основе этой категории лежит общее противопоставление граммем множественного числа (признак «расчлененности» предмета) и единственного числа (признак «отсутствия расчлененности»). Это очень «мощная» по своей частеречной базе категория: она охватывает существительные, прилагательные, местоимения, глаголы. И все же есть сферы, где оппозиция «единственное / множественное число» нару-

шается или нейтрализуется. И тем самым создается поле для выбора одной единицы из нескольких и, соответственно, реализации прагматических значений.

Прежде всего, целые подклассы существительных вообще не знают противопоставления по числу; это так называемые singularia tantum, т. е. «всегда единственные» (типа рус. *одиночество, грусть, смелость, золото* и т. п.) и pluralia tantum, т. е. «всегда множественные» (типа *ножницы, сани, помои, каникулы* и т. п.). Причем, что любопытно, эти подклассы можно приблизительно очертить семантически. Так, к разряду pluralia tantum в русском языке относятся названия многих ритуалов, игр, праздников (*именины, жмурки, похороны, каникулы*), отбросов и отходов производства (*помои, выжимки, стоки, ошметки*), кулинарных блюд (*щи, гренки, пельмени, мюсли*), близки к этому названия обуви (*кеды, сандалии, ботфорты, ичиги, берцы*) и т. д. Попытки подобной семантической классификации можно найти во многих пособиях по русскому языку. Естественно, нарушение заданных ограничений в числе автоматически ведет к эстетическому эффекту, ср. цитаты:

А ныне – **воздухами** пьяный,
Взмываюсь вольною мечтой…

(*А. Белый.* Вольный ток)

Когда ты падаешь в **обьятье**
В халате с шелковою кистью…

(*Б. Пастернак.* Осень)

Почему не поставят мусорные баки, как в других городах? Это ужасно! Все в одно время тащатся со своим **отбросом**, и стоят, и ждут (Е. Попов. Снегурочка).

Разумеется, я сама никакой книги написать не могу, не только по лени и бесталанности, но и оттого, что по-настоящему, сердечно, помню только свои собственные **стыды, позоры** и **вины** (М. Рачко. Через не могу).

Как возникает такое отклонение? С одной стороны, говорящий как бы стремится исправить языковую «несправедливость» и восстановить комплект форм слова до полной парадигмы. С другой, можно увидеть здесь влияние аналогии с иными словами. Вот, например, в следующем газетном примере существительное *общение*, не имеющее множественного числа (singularia tantum), все же получает таковое благодаря семантическим связям с другими словами, в частности с существительным *последствия*:

На съемочной площадке мы не встречались с Владимиром Высоцким, но зато в гостинице жили на одном этаже со всеми вытекающими... **общениями**, естественно (Советская Белоруссия. 2003. 29 марта).

В некоторых языках классы singularia tantum и pluralia tantum менее объемны, чем в русском. Можно сказать, что оппозиция по числу является там более регулярной. В частности, считается, что в польском singularia tantum легче получают множественное число, ср.: treśc ‘содержание, смысл’ – treści, neprawidłowośc ‘неправильность’ – nieprawidłowości, płacz ‘плач’ – płacze и т. п. Ср. литературный пример и его перевод:

Świadomość nadchodzącego szczęscia, miękkego, głębszego od innych **szczę**ść. Liczba mnoga zastanowiła go przez chwilę. Szczęście – pomyślał – jest jedno, to miłość (J. Iwaszkiewicz. Nowa miłość). Перевод: ‘Осознание приближающегося счастья, мягкого, более глубокого, чем другие счастья. Множественное число заставило его на минуту задуматься. Счастье, подумал он, одно: это любовь’.

Но, кроме «классических» singularia tantum и pluralia tantum, есть много слов, которые к этому приближаются: в подавляющем большинстве контекстов они употребляются только в одном из чисел. Если существительное приближается к pluralia tantum (т. е. выступает, как правило, во множественном числе), то образование от него формы единственного числа нередко вызывает затруднение у носителя языка. Примеры типа *туфля/туфель, ботфорт/ботфорта, кроссовка/кроссовок* уже фигурировали в предыдущих лекциях. Но эти колебания не ограничиваются названиями обуви. Как сказать: *надолба* или *надолб, клипса* или *клипс, пельменя* или *пельмень, гренок* или *гренка*? Отсюда вытекают ошибки вроде тех, что зафиксированы и в художественной литературе, ср.:

Один лишний **брызг** крови, что для вас может значить? (Ф. М. Достоевский. Бесы).

Существительные pluralia tantum предоставляют поле деятельности для прагматических оттенков и в других славянских языках. В частности, в польской разговорной речи встречаются шутливые сингулятивные формы ten dzins вместо нормативного te dzinsy ‘эти джинсы’, ten spodzień вместо te spodnie ‘эти брюки’, ten ludź букв. ‘этот людь’ вместо ten człowiek ‘этот человек’ или ci ludzie ‘эти люди’…

Грамматическая категория числа связана в нашем сознании с определенными представлениями об устройстве мира и общества. Вот, скажем, в «Словаре русского языка» С. И. Ожегова слово *норманны* приводится именно в такой исходной форме – множественного числа: «Норманны – общее название племен, населявших Скандинавию в средние века». В то же время очень близкое по значению слово *викинг* дается там

в форме единственного числа: «Викинг – древнескандинавский воин». Случайно ли это? По-видимому, нет. Дело в том, что существительное *норманны* попадает в один ряд с этнонимами (названиями народов и народностей): *англичане, французы, варяги, гунны, славяне, хазары…* – все они представлены в словаре исходной формой множественного числа. Так и говорится: «Англичане – народ германской языковой группы, составляющий основное население Англии». А про отдельного *англичанина* ничего не говорится, и так ясно: это представитель англичан, точно так же как француз – представитель французов и т. п.

Викинг же попадает в другой ряд – названий людей по социально-профессиональному признаку. Сюда входят, в частности, такие слова, как *язычник, кочевник, рыцарь, басурман…* Понятно, что здесь организованный или объединенный характер указанных лиц неважен, второстепенен, и потому существительные приводятся в форме единственного числа. Получается, что в сознании носителя языка (а составитель словаря – тоже носитель языка, только особо квалифицированный!) названия народов противопоставлены названиям множества (объединений) людей по каким-то ему известным признакам.

Достаточно ли образовать форму множественного числа для того, чтобы выразить идею «расчлененного множества»? В принципе да. Но надо, по-видимому, учитывать еще, насколько определенны или, наоборот, размыты границы этого множества. В современной русской речи весьма популярны плюральные двучлены типа *руки-ноги, банки-склянки, книжки-тетрадки*. Конечно, они характерны для непринужденной разговорной речи и имеют давние корни в фольклоре (ср.: *гуси-лебеди, печки-лавочки, елки-палки* и т. п.). Но их семантика прагматически богата. С одной стороны, эти конструкции постепенно становятся устойчивыми, фразеологизуются. А с другой стороны, они воплощают в себе некую размытую собирательность: *руки-ноги* это ведь не просто ‘руки’ + ‘ноги’, а ‘части тела’. *Банки-склянки* – не только ‘банки’ + ‘склянки’, но и вообще ‘посуда’ (в том числе, скажем, и бутылки). *Вилки-ложки* – это не только ‘вилки’ + ‘ложки’, но и ‘ножи’, а возможно также поварешки, открывалки и прочая кухонно-столовая утварь. У Корнея Чуковского в сказке про Айболита дети

Вдоль по Африке гуляют,
Фиги-финики срывают…

«Фиги-финики» – некое виртуальное ботаническое чудо, которое может возникнуть только в языке! И говорящий, использующий в своей речи выражения вроде *банки-склянки* или *фиги-финики*, очевидно, ожидает и

от своего собеседника, что тот способен мыслить нечеткими, приблизительными категориями (поэтому подобные конструкции неприемлемы в официальных, казенных текстах).

Формы множественного числа семантически соотносятся с собирательными существительными, представляющими множество не как расчлененное, а как единое целое. Связь эта следует уже из того факта, что некоторые собирательные существительные со временем вытесняли исконные формы множественного числа. Так, форма *братья* (от *брат*) – исторически собирательное существительное, вытеснившее форму **браты*. Категория собирательности в русском языке имеет лексико-грамматический характер, проще говоря, она недостаточно регулярна. Конечно, примеры типа *бабьё, родня, беднота, мошкара, белье, листва* и т. п. наглядно демонстрируют, что форма единственного числа может обозначать совокупность предметов. Но за пределами некоторого ряда слов это значение с трудом находит себе выражение. У Маяковского читаем:

Гостьё идет по лестнице.

(*В. Маяковский.* Про это)

Любой русский читатель поймет это «гостьё», потому что соотносит его с *вороньё, бабьё, ворьё* и другими подобными словами с собирательным значением. Но вместе с тем новообразование Маяковского не может не резать глаз – да, собственно, с такой целью оно и задумывалось…

В то же время в других славянских языках, например в чешском, значение собирательности выражается значительно более регулярно, чуть ли не с парадигматической строгостью. Там, к примеру, от spisovatel ‘писатель’ возможно образовать spisovatelstvo ‘писатели как целость, совокупность писателей’, от čtenář ‘читатель’ – čtenářstvo ‘читательская масса, совокупность читателей’, от poplatník ‘налогоплательщик’ – poplatnictvo ‘совокупность налогоплательщиков’, от zákazník ‘заказчик’ – zákaznictvo ‘все заказчики как таковые’ и т. п. В. Ф. Васильева по этому поводу замечает: «…Форма мысли – собирательные понятия – в чешском языке оказывается более структурированной в том отношении, что в данном случае имеет место эксплицитный и более регулярный по сравнению с русским языком способ ее реализации. Это, в свою очередь, означает, что информация о неразличимом множестве в русском языке востребуется реже, чем в чешском».

Я думаю, на самом деле зависимость здесь двусторонняя. С одной стороны, каждый социум может иметь склонность к определенному типу мышления, оказывать предпочтение определенным мыслительным структурам. И естественно, что эти структуры должны подыскивать себе фор-

мальное выражение. А с другой стороны, наличие в языке четкого, однозначного и регулярного способа выражения некоторого значения приводит к тому, что это средство становится более востребованным: мысль человека чаще устремляется по этому апробированному каналу.

В русском же языке, как уже говорилось, собирательность оказывается недостаточно «грамматичной». Впрочем, то, что форма единственного числа в принципе может обозначать единичность (нерасчлененность) предмета (*карандаш, рука, город*), а может – нерасчлененную множественность (*белье, саранча, малина*), создает некий прецедент для метаязыковой рефлексии. На обыгрывании этого факта построена, например, следующая шутка:

– Ты чем занимался в последние годы?
– **Птицей** торговал.
– А сейчас?
– Сдохла моя **птица**…

Здесь «птица» вначале воспринимается как собирательное существительное, а затем оказывается, что речь идет о единичном предмете.

Ранее я уже упоминал о ситуациях, в которых противопоставление единственного и множественного числа становится несущественным, нейтрализуется. Это еще один повод для актуализации прагматического аспекта значения. Показательны в этом отношении русские примеры типа *Боярам приказали брить бороду/бороды* или *Собаки бежали поджав хвост/хвосты.* Действительно, можно сказать и так, и так. Вариантность формы числа обусловлена здесь двумя факторами. Во-первых, множественность ситуаций может быть уже обозначена в предложении каким-то иным способом (например, в словоформах *боярам* и *приказали* в первом случае и *собаки* и *бежали* – во втором). По той же причине в следующей цитате мы даже не замечаем внезапного перебива форм числа:

Били друг друга **затылками по лбу, лбами по затылкам** (М. Горький. Жизнь Клима Самгина).

А второй фактор, обусловливающий ситуацию нейтрализации числа, это застывание словоформ в составе устойчивых словосочетаний (обычно это касается форм единственного числа). Иными словами, использование сингулятивных форм для обозначения множественных явлений может означать, что произошла фразеологизация сочетания. Именно поэтому мы говорим: «Платье с коротким рукавом» (хотя, вообще-то, рукавов у платья два) или «Мальчики ползли на животе» (хотя каждый мальчик полз на своем животе). А вот следующий литературный пример слегка царапает взгляд: сегодня мы бы сказали скорее: «Оба спортсмена находятся в своей лучшей форме»:

Он был значительно выше ростом, чем Сюлливан, тяжелее его (если оба находились **в своих лучших формах**) на пятнадцать фунтов, обладал длинными руками… (А. Куприн. Лимонная корка).

Таким образом, и категория числа предоставляет говорящему возможность выбора из некоторых вариантов, а в перспективе это означает возможность выражения дополнительных смысловых оттенков.

Причем даже если числовое значение говорящему вполне ясно, этот выбор не всегда происходит автоматически. Вот простой пример. В русском языке для существительных мужского рода характерна во множественном числе конкуренция форм на *-и/-ы* и на *-а*, типа *учители/учителя*. Форма на *-а* – отголосок существовавшего когда-то двойственного числа (в некоторых славянских языках двойственное число, или дуалис, сохраняется и поныне). Со временем она активизируется и сфера ее действия расширяется за счет формы на *-и/-ы*. Так, сегодня мы уже говорим *дома, снега, города*… Но еще в XIX веке на этом месте употреблялось окончание *-и/-ы*, ср.:

И сзади, спереди, с боков
Окрестность вся летела,
Поля, холмы, ряды кустов,
Заборы, **домы**, сёла

(*В. А. Жуковский.* Ленора)

Как розы денницы живые,
Как ранние **снеги** полей –
Ланиты ее молодые
И девственный бархат грудей!

(*Н. М. Языков.* Элегия)

Если же сегодня мы читаем:

Идут белые **снеги**,
Как по нитке скользя…

(*Е. Евтушенко.* Идут белые снеги…)

то это несомненная стилизация: поэт как бы намекает читателю, что считает его способным оценить архаичные формы. Или же вообще призывает к «грамматической толерантности» при чтении поэтического текста.

Но окончание *-а*, обозначающее множественное число, не останавливается в своей экспансии, оно захватывает территорию все новых и новых существительных, ср. следующие примеры:

– Перестань повторять это слово! Нам светят **срока**. Про тебя не знаю, суд решит – расстрелять или посадить на пятнадцать лет (В. Пронин. Банда).

Моей жизни часть эмигрировала.
Здесь жила. Пустила **корня**.
С интересом сейчас игривым
Рассматривает меня

(*А. Вознесенский.* Аксиома самоиска)

Естественно, подобные факты (а особенно употребление *-а* с существительными женского рода: *должностя, прибыля, вестя* и т. п.) – яркий признак ненормативной речи, просторечия (и, соответственно, низкого образовательного статуса говорящего). Произношение «должностя» скажет о человеке больше, чем его диплом о полученном образовании.

В других славянских языках есть свои тонкости, связанные с употреблением форм числа. Вот мы уже говорили о фактах конкуренции форм мужско-личного и женско-вещного рода в польском языке. Но и в рамках мужско-личного рода существительные, обозначающие лиц, могут образовывать плюральную форму с помощью окончаний -i/-y, -e или же окончания -owie. При этом если выбор первых достаточно формален (он зависит от фонетических свойств основы), то использование последнего содержит в себе дополнительное условие. Окончание -owie, по словам польского лингвиста Станислава Шобера (St. Szober, 1962), «связывается исключительно с семантическими свойствами слов: оно присоединяется к существительным, обозначающим статус, должность, степень родства, иногда также национальность». Так, если sąsiad значит ‘сосед’, то множественное число будет sąsiedzi, если gość значит ‘гость’, то плюральная форма будет goście, если chłop – ‘мужик, крестьянин’, то chłopi или chłopy, но от ojciec ‘отец’ множественное число будет ojcowie; точно так же от pan ‘господин’ – panowie, от profesor ‘профессор’ – profesorowie, от arab ‘араб’ – arabowie. Честно говоря, это деление соблюдается очень нестрого, но в основе его лежит явная прагматика!

Категория падежа. Прежде всего, граммема каждого падежа обладает своим местом в общей системе. Это значит – падежи различаются своим функциональным диапазоном, частотой употребления и т. д. Скажем, в русской речи чаще всего употребляются именительный и родительный падежи, а реже всего – творительный и дательный. (Причем именительному принадлежит безоговорочное первенство в разговорной речи и в художественной литературе, родительный же – излюбленный падеж научной, деловой, политической прозы.) Как тут не вспомнить замечание Осипа Мандельштама:

…Нас путает синтаксис. Все именительные падежи следует заменить указующими направление дательными (Разговор о Данте).

В сфере падежа мы также нередко имеем дело с вариантными формами, различие между которыми несет особую прагматическую нагрузку.

В частности, в родительном падеже единственного числа во всех славянских языках наблюдается конкуренция окончаний *-а* и *-у* . Это результат смешения двух древних типов склонения (М. В. Шульга, 2003). С самого начала формы на *-у* семантически выделялись: они обслуживали названия вещества, не имеющие множественного числа (например, *меду*). Затем окончание *-у* не удержалось в этих пределах и стало вытеснять *-а* у отвлеченных и предметных существительных. В XIX веке это смешение продолжается. Вот две цитаты из русской литературы одного и того же периода, показывающие, что практически было все равно, как сказать – *после чаю* или *после чая*:

После **чаю** пойдем осматривать конный завод (С. Т. Аксаков. Детские годы Багрова-внука).

После **чая** ляжет тотчас на диван (И. А. Гончаров. Обломов).

Но постепенно форма с *-у* становится маркированной: она свидетельствует о более низком социолингвистическом статусе говорящего. Так, в «Былом и думах» А. И. Герцена передается разговор между судьей и крестьянином. И, надо думать, не случайно в уста первого вкладывается форма на *-а*, в уста второго – форма на *-у*, ср.:

– Полно, полно, брат, сегодня от святых отцов нет **запрета** на вино и елей.
– Оно точно, **запрету** нет, но вино-то и доводит человека до всех бед.

Сегодня форма на *-у* продолжает сужать сферу своего употребления. Но для некоторых случаев – названий еды и питья, особенно с уменьшительными суффиксами (*чаю, соку, коньяку, чайку, кофейку, супчику*) она остается обязательной. Совершенно невозможно сказать по-русски: «Выпейте чайка». Вот любопытный пример:

– Приходите и вы.
– А зачем? – удивилась Антипова.
– Посидим. Выпьем **коньячку**.
От **коньячка** на другой день будет болеть голова. День вылетит (В. Токарева. На черта нам чужие).

Здесь в реплике персонажа «Выпьем коньячку» совершенно правильно употреблена форма на *-у*. А в следующем предложении, в авторской речи, хотя фактически и цитируется предыдущее слово (*коньячок*), но употреблено оно уже в форме родительного падежа на *-а.* В чем тут дело: просто в стилистике? Или же у конкурирующих вариантов на *-а* и на *-у* надо учитывать еще и лексическую дистрибуцию: *выпить коньячку*, но *голова болит от коньячка*? Именно в сочетании с глаголами *пить, есть,*

пробовать (и их производными) формы на *-у* вполне на своем месте.

В других славянских языках – белорусском, украинском, польском и т. д. – конкуренция генитивных форм на *-а* и на *-у* привела к своим результатам, но везде распределение существительных по данным двум типам описывается довольно сложными правилами.



Пригласительная открытка

С этими тонкими различиями соприкасается проблема конкуренции падежей, обозначающих объект: в частности, в русском языке винительный представляет его в полном объеме (целости), а родительный – в частичном: *выпить молоко – попить молока, дай сковородку – дай сковородки*. Но определенные колебания возможны и здесь. Вот художественно исполненная открытка: какая-то мохнатая зверюшка приоткрывает дверь своего домика. И текст гласит: «Заходи на огонёк – вместе выпьем кофеек». Форма *кофеёк* здесь царапает глаз. Строго говоря, она употреблена неправильно (в приглашении ведь не имеется в виду, что надо выпить конкретный кофе, причем весь), следовало бы сказать: «Выпьем кофейку». Но ясно: «чужая» форма вызвана тут к жизни требованиями рифмы: *огонёк – кофеёк*.

Добавлю, что форма на *-у* иногда используется «не на месте» с явно игровой целью: говорящий таким образом стремится привлечь к себе внимание, или продемонстрировать свою речевую свободу, или же наладить неформальные отношения с адресатом. Сравним следующие цитаты:

Еще и сейчас храбрится:

«Я если пять-десять километров не пройду – **аппетиту** нет» (В. Крупин. Тринадцать писем).

Не ищите **порядку** и связи,
Проповедуйте горе уму…

(*Ю. Ким.* Мозаика жизни)

Особого разговора заслуживают формы звательного падежа (вокатива). В русском языке они фактически исчезли. Оставшиеся некротизмы (*боже, отче, старче, человече, владыко*) переродились, они употребляются в роли именительного падежа, но с дополнительной разговорно-архаической окраской, например:

Я к окошку. Смотрю: **человече** в катере сидит. Спускается этот **человече** вниз по течению (А. Ромов. При невыясненных обстоятельствах).

«Человече» здесь, утратив связь с древним вокативом, приобретает особое лексическое значение, это что-то вроде ‘небольшого роста, старый, дряхлый человек’, плюс к тому вызывающий некоторую симпатию.

Однако во многих славянских языках – польском, чешском, украинском, болгарском и др. – вокатив сохраняет относительную регулярность. В частности, учебники польского языка в качестве примеров спокойно приводят формы звательного падежа от таких существительных, как kwas ‘кислота’ (kwasie), kość ‘кость’ (kości), brew ‘бровь’ (brwi) и т. п., не ощущая никакой неестественности в том, что человек обращается к кислоте, кости или брови! Впрочем, раз потенциально, в языке, эти формы существуют, значит, они могут появиться и в речи. И действительно, в текстах, в частности поэтических, встречаются подобные образования. Скажем, в следующем фрагменте поэт-модернист Мирон Бялошевски последовательно обращается к шкафу, царице Семирамиде, пирамиде и «опере в трех дверях»:

Szafo szafo Semiramido
piramido
Aido
opero w trzech drzwiach!
(*M. Białoszewski.*
Sztuki piękne mojego pokoju)

Одно из стихотворений поэтессы Агнешки Осецкой называется по-польски «Polska madonno» (madonno – вокатив). На русский язык это заглавие придется перевести как «Ты, польская мадонна» (или же еще вычурнее: «Обращаюсь к тебе, польская мадонна»). Точно так же роман болгарского писателя Эмила Элмазова «Птицо проклета» по-русски будет называться, скорей всего, «Ты, проклятая птица». (В связи с этим напомню уже затрагивавшийся вопрос: не подталкивает ли наличие таких регулярных форм в сознании носителя польского или болгарского языка к тому, чтобы он чаще употреблял эти формы, активнее их использовал?)

Вместе с тем не стоит переоценивать живучесть вокатива в отдельных славянских языках – перспективы его довольно мрачны. В частности, польские исследователи отмечают в этом фрагменте расшатанность нормы: вокатив нередко вытесняется номинативом или приобретает дополнительную экспрессивную окраску. Точно так же в болгарском, при сохранении общих оснований вокатива, его лексическая база постепенно сужается. Более того, даже в тех ситуациях, когда образование звательной

формы закономерно и естественно (например, при личных именах собственных), она может сопровождаться негативными прагматическими оттенками. Например, вокативы *Антуането!* или *Маргарито!* звучат по-болгарски вызывающе, «конфликтогенно» по сравнению с исходными формами тех же имен, употребленными в качестве обращения: *Антуанета!* или *Маргарита!*.

Можно показать, что избыточность парадигмы способна быть также полем идеологической борьбы. В частности, в современном белорусском языке существуют две тенденции, определяющие формирование литературной нормы. Одна из них, узаконенная в виде так называемой *наркомовки* (от слов *нарком, наркомат*), ориентирована на сближение с русским языком. Другая, *тарашкевица* (названная так по фамилии белорусского языковеда Бронислава Тарашкевича), ориентирована скорее на отталкивание от русского языка. Различия между ними проявляются главным образом в сфере орфографии, но существуют также расхождения в лексике и грамматике. В частности, согласно официальной норме, существительные женского рода образуют форму родительного падежа множественного числа с помощью нулевого окончания или окончания *-ей* (*-эй*) (*форма – форм, вясна – вёсен, ноч – начэй*), и это близко к правилам русской грамматики. А согласно «оппозиционной» норме, эти формы должны быть образованы с помощью окончания *-аў* (*формаў, веснаў, ночаў*), унифицированного для всех существительных в родительном падеже множественного числа. Конечно, различия эти не столь уж велики, да и вообще орфографию относительно легко декретировать, регулировать, но любопытно, что за грамматическими вариантами стоят разные идейные платформы. Используемые формы как бы подсказывают читателю, с текстом какой направленности он имеет дело.

Следует еще хотя бы кратко сказать о несклоняемых существительных, к которым разные славянские языки относятся по-разному. Русский язык в этом отношении довольно консервативен, чтоб не сказать чопорен, он очень медленно осваивает заимствования. Достаточно вспомнить цитаты типа:

Я,
товарищи, –
из военной **бюры**.
Кончили заседание
тока-тока
(*В. Маяковский.* Хорошо!)

Этак каждый веревок настрижет – **польт** не напасешься (М. Зощенко. Баня).

Здесь слова *бюро* и *пальто* употреблены с явным нарушением грамматических правил. Такое словоупотребление сразу же рисует нам портрет носителя просторечия.

А вот пример рефлексии говорящего над недоосвоенным словом:

– Город вы сообразите сами, я в географии не силен, – ответил я. – За это время вы должны мне привезти два куска этого самого чистейшего **мумие**. Или оно склоняется? Тогда **мумия** (И. Губерман. Пожилые записки).

Но есть языки, сравнительно легко «переваривающие» заимствования и включающие их в стандартные парадигмы данного языка. Скажем, в чешском языке несклоняемых существительных вообще меньше, чем в русском, а заимствования типа rádio ‘радио’, byro ‘бюро’ прекрасно изменяются по падежам: rádia, rádiu…, byra, byru… и т. д.

Таким образом, варьирование грамматических форм существительного (в каком-то смысле избыточность парадигмы) позволяет наряду с «основными» значениями рода, числа, падежа выражать разнообразные стилистические оттенки: архаичность, разговорность, просторечность, интимность, конфликтогенность, приблизительность, экспрессивность, метафоричность и т. п.

ЛЕКЦИЯ 7

ГРАММАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ ГЛАГОЛА (ВИД, ВРЕМЯ, ЛИЦО, НАКЛОНЕНИЕ) И ИХ ПРАГМАТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

Категория вида. Вид – важнейшая категория славянского глагола, характеризующая действие с точки зрения его протекания: или как действие предельное, целостное, ограниченное во времени, или же как непредельное, длительное либо многократное. Соответственно говорящий то ли «пересекает линию процесса перпендикулярно», то ли «сопровождает процесс взглядом» (Г. А. Золотова). Аспектологи (специалисты, изучающие категорию вида) ожесточенно дискутируют, пытаясь как можно точнее определить общее (инвариантное) значение вида, сущность противопоставления «совершенный/несовершенный вид». А уже на этой базе выделяется ряд частных видовых значений, связанных с конкретными аспектуальными ситуациями (А. В. Бондарко).

Но нас сейчас интересует другое. Вид, с одной стороны, соотносится с явлениями словоизменения (образуя **формы** глаголов), но регулярность этих отношений явно недостаточная. Например, мы легко скажем: «Он что делал? – решал задачу» и «Он что сделал? – решил задачу». А фраза «Он женил сына» – это что, ответ на вопрос «Он что делал?» или «Он что сделал?» Можно подумать и так, и так. А как образовать совершенный вид от глаголов *обладать, бодрствовать, предвидеть* и т. п.? Никак: они одновидовые. Должной регулярности опять не наблюдается.

С другой стороны, видовые различия сопровождают (а можно сказать, и провоцируют) создание новых глаголов, новых **слов** – т. е. лежат в области словообразования. Скажем, от *учить* можно образовать глагол совершенного вида *выучить*, а можно – *заучить, научить, проучить* и т. п. – и понятно, что все это разные лексемы. И вот столкновение инте-

ресов словоизменения и словообразования, высекающее искру экспрессивного эффекта, предоставляет говорящему значительную свободу творчества.

Креативный потенциал вида «проявляется в легкости и регулярности образования ненормативных перфективных и имперфективных форм, адаптирующихся к потребностям современной речи» (Е. Н. Ремчукова). Это значит: носитель языка все же ощущает принципиальную возможность от каждого глагола совершенного вида образовать несовершенновидовой глагол (этот процесс называется имперфективацией), а от каждого глагола несовершенного вида, наоборот, образовать совершенновидовую пару (это называется перфективацией). Однако сплошь и рядом эти попытки наталкиваются на запреты, которые установлены литературной нормой, и говорящий вынужден их нарушать! Вот тут-то и обнаруживает себя прагматический аспект данной категории: видовые новообразования демонстрируют отношение говорящего не только к тому действию, о котором идет речь, но и к его собеседнику и, собственно говоря, к языку, которым они пользуются.

Приведу из художественных текстов примеры окказиональной имперфективации. Это весьма популярное явление в русской речи.

Всё **задремывает**... И разнокалиберная шумливая птица в птичнике, и толстая неповоротливая [...] скотина в хлеву – всё, всё спит (А. Аверченко. Дюжина ножей в спину революции).

Машина затряслась и запрыгала. [...] Мотор **взревывал**, камни били в днище (А. Стругацкий, Б. Стругацкий. Понедельник начинается в субботу).

Еще очень **разозлевают** мальчишки и даже пионеры. Они все сразу узнают по лицу, и бегут сзади, и выкрикивают... (В. Драгунский. Гвоздь программы).

Здесь во всех цитатах мы имеем дело с конечным звеном трехчленной словообразовательной цепочки. От *дремать* образован глагол *задремать*, а от того, в свою очередь, *задремывать.* От *реветь* образовано *взреветь*, а от того – *взревывать.* От *злить* – *разозлить,* а от того – *разозлевать.* В том же ряду, очевидно, находятся такие новообразования, как *устыжать* (от *устыдить*), *промаргивать* (от *проморгать*), *прошумливать* (от *прошуметь*), *охрипать* (от *охрипнуть*), *затеривать* (от *затерять*) и т. д. – все они находят отражение в художественных и публицистических текстах. Конечно, это очень яркое выразительное средство, сигнал речевой раскованности и вместе с тем ориентированности на адресата.

В то же время в других славянских языках соотношение совершенного и несовершенного вида может подчиняться своим правилам. В болгар-

ском, в частности, образование вторичного несовершенного вида значительно более регулярно, чем в русском: оно почти не знает ограничений. Там можно сказать, например: «Той написва по един разказ всеки месец» ‘Он пишет [букв.: написывает] по одному рассказу в месяц’ или «Тогава лъвът изревава…» ‘Тогда лев издает рев’ [букв.: взревывает].

А в чешском языке с помощью суффикса -va- регулярно образуются глаголы многократного действия: sedávat ‘сиживать’, chodívat ‘хаживать’, říkávat ‘говорить’ (многократно), dělávat ‘делать’ (многократно), spávat ‘спать’ (многократно), mívat ‘иметь’ (многократно) и т. п. Скажем, при переводе чешской фразы Říkával jsem mu to на русский язык многократность придется передать лексическими средствами: ‘Я ему это несколько раз говорил’. Когда-то подобные образования – *говаривать, писывать, певать, бирать* и т. п. – были популярны и в русском языке, но нынче они воспринимаются как архаичные, ср.:

Меньше червонца дырочку подштопать никогда не **плачивали** (Н. Лесков. Штопальщик).

Так и быть, спою вам сейчас студенческие куплеты. Когда, бывало, я учился, мы всегда их **певали** (Г. Белых, Л. Пантелеев. Республика ШКИД).

Имперфективация может осуществляться не только прибавлением суффикса, но иногда и отнятием префикса – т. е. путем обратного словообразования. Результатом бывает все то же отклонение от нормы, сопровождаемое эстетическим эффектом. Примеры:

Дело он двигал осторожно и на все подстегивания главного инженера небрежно отмахивался:

– Погодите, разберусь…

Бахиреву некогда было **«годить»**. Верный своему пристрастию к цифровой точности, он решил провести в моторном цехе хронометраж (Г. Николаева. Битва в пути).

– Держи, бой, – сказал я и дал ему значки. Он остолбенел сперва. […] Пока он **столбенел**, мы спокойно шли. Но уже через несколько минут сзади раздался шум и гам (В. Конецкий. Среди мифов и рифов).

– Господи, всю нервную систему ребенку расшатали… – Если бы у нее была своя внучка, она ни за что не **шатала** бы ее систему, а жила только ее интересами (В. Токарева. Уж как пал туман).

Распределение глагольных видов по аспектуальным ситуациям в славянских языках тоже неодинаково. В частности, в польском и чешском некоторые ситуации обозначаются с помощью совершенного вида, в то время как в русском здесь возможен только несовершенновидовой глагол.

В частности, речь идет о повторяющихся действиях, ср.: пол. Koń ma cztery nogi, a potknie się ‘Конь о четырех ногах, да спотыкается’ [букв.: споткнется] (пословица); чешск. Vykouří deset cigaret denně ‘Он выкуривает [букв.: выкурит] по десять сигарет в день’. В русском же тексте употребление в подобной ситуации глагола совершенного вида режет глаз и воспринимается как ошибка, ср.:

К вечеру же он уставал на работе, сердце его дурнело и жизнь для него **протухла** (А. Платонов. Сокровенный человек).

Значит, дело в том, что вдруг раз в год мне **позвонила** моя дочь, живущая, как известно, на выселках... (Л. Петрушевская. Время ночь).

Вид внутренне связан с другими грамматическими категориями: временем, залогом, числом, определенностью имени (там, где она есть). В частности, каждый член видовой пары образует свою собственную парадигму форм времени. Как известно, формы повелительного наклонения с отрицанием нормально образуются от глаголов несовершенного вида: *не груби, не опаздывай, не стойте* и т. п. Если же такая форма образуется от совершенновидового глагола, то ее смысл – не приказ или просьба, а предостережение: *(смотри) не опоздай, не споткнись, не потеряй* и т. п. В этом плане следующий контекст заставляет задуматься: что имеет в виду автор под формой *не обернись*:

И стеклянною волной
Ласточка шмыгнула мимо,
Прошептала: Берегись!
Помни! Жди! **Не обернись!**

(*Д. Пригов.* Мистическое)

Особо следовало бы сказать о связях вида со **способами глагольного действия**, лексически закрепляющими характер представления процессуального признака. Среди этих разрядов глаголов различаются, например, начинательный способ (*запеть, заговорить*), окончательный (*доесть, отмучиться*), ограничительный (*почитать, походить*), однократный (*прыгнуть, свистнуть*), распределительный (*повыпрыгивать, посходить*), прерывисто-смягчительный (*посвистывать, почитывать*), сопроводительно-смягчительный (*притаптывать, подрабатывать*) и др. Понятно, что эти типы значений, с одной стороны, опираются на семантику видовых различий, а с другой – таят в себе богатство экспрессивных оттенков. Приведу один пример, напоминающий нам, что глагол *посходить* нормально требует множественного числа субъекта:

Отсюда обычная формула: «Люди посходили с ума!» «Люди взбесились!» «Что творится с людьми!» Вы слышали когда-нибудь, чтобы человек воскликнул: «Я **посходил** с ума!»...? (А. Зиновьев. Зияющие высоты).

Стоит еще заметить, что значение глагольного вида тесно взаимодействует с лексическими средствами: наречиями типа *всегда, обычно, наконец, вдруг*, фазисными глаголами (*начать, кончить, продолжать*) и т. п. В тех языках, где нет вида как грамматической категории, характер протекания действия сигнализируется иными средствами. Вспомним знаменитое высказывание царского министра Столыпина по поводу земельной реформы: «Разрешить этот вопрос нельзя, его надо разрешать». Если попробовать перевести эту фразу на английский или французский язык, то здесь не обойтись без слов со значением типа «окончательно» (*разрешить*) или «постепенно» (*разрешать*).

Категория времени. Глагольные формы времени указывают на ориентацию события по отношению к моменту речи. В самых общих чертах это выглядит так: если событие совпадает по времени с моментом речи, то это настоящее время, если предшествует, то это прошедшее, если же событие наступит после момента речи, то это – будущее время. Такая трехчленная система кажется нам наиболее естественной и простой.

Но, во-первых, и уже состоявшееся, и только ожидаемое события могут находиться в разной удаленности от момента речи, и надо бы как-то эту дистанцию ранжировать.

Во-вторых, событий, расположенных на временной оси, может быть не одно, а два или больше, и их надо как-то между собой соотнести. Такое упорядочение во времени называется в лингвистике таксисом. И, замечу сразу, не случайно в некоторых языках есть несколько прошедших и несколько будущих времен.

А в-третьих, и это для нас самое важное, говорящий располагает определенной свободой в представлении события. В зависимости от того, какое место он отводит себе на оси объективного времени и каким образом он собирается организовать текст, он может **манипулировать временем**. Например, действие в прошлом можно представить как настоящее время, действие в будущем – как прошедшее и т. д. Такое переносное использование грамматических времен уже практически не ощущается как особый прием, оно стало частью языковой техники. (В лингвистике давно приняты термины вроде «историческое настоящее».) И тем не менее всё это составляет прагматический потенциал данной категории. Говорящий может с помощью временных форм, внутренне связанных с видом, «сжимать» или «расширять» пространство, приближать события или же отдалять их, а главное – регулировать свои отношения с окружающими людьми. Покажу это на примерах.

Прежде всего, то, что говорящий обладает определенной свободой по отношению к грамматическому времени, не означает, что ему безразлич-

но использование временных форм. Действие, конечно, может быть разновременным, но «вневременным» оно быть не должно, ср.:

По крайней мере он может определительно сказать, что и вчера он **колотился**, и сегодня **колотится**, и завтра **будет колотиться**. За это его и называют образцовым хозяином (М. Е. Салтыков-Щедрин. Пошехонская старина).

Впрочем, в порядке литературного эксперимента адресату может быть предложено самому выбрать для себя наиболее подходящее время действия. Именно так можно истолковать следующий контекст:

Дорогой Леонардо, недавно **(сию минуту, в скором времени)** я плыл **(плыву, буду плыть)** на весельной лодке по большой реке. До **этого (после этого)** я много раз бывал **(буду бывать)** там и хорошо знаком с окрестностями. Была **(есть, будет)** очень хорошая погода, а на берегу, на одном из берегов, куковала кукушка **(кукует, будет куковать)**, и она, когда я бросил **(брошу)** весла, чтобы отдохнуть, напела **(напоет)** мне много лет жизни. Но это было **(есть, будет)** глупо с ее стороны, потому что я был совершенно уверен **(уверен, буду уверен)**, что умру очень скоро, если уже не умер (С. Соколов. Школа для дураков).

«Игровой» характер такого фрагмента очевиден даже для неопытного читателя: писатель может выбирать число описываемых объектов и какие-то другие обстоятельства, но уж уместить его где-то на временной оси он обязан в первую очередь! А так – это похоже больше на упражнение по спряжению глаголов в учебнике русского как иностранного, чем на повесть или роман…

Сопоставление, даже столкновение в одном контексте настоящего и прошедшего времен часто указывает на радикальную смену обстановки: что-то, что было, уже не существует.

...Официанты оставили свои подозрения и принялись за дело серьезно. Один уже подносил спичку Бегемоту, другой подлетел, [...] выставляя тонкостенные бокалы, из которых так хорошо **пьется** нарзан под тентом... нет, забегая вперед, скажем: **пился** нарзан под тентом незабвенной грибоедовской веранды (М. Булгаков. Мастер и Маргарита).

– Сколько **стоит**? – спросил художник.

– Стоил. Недорого, – засмеялся Евгений. – Сто рублёв. В магазине (Н. Давыдова. Сокровища на Земле; здесь *стоил* означает: ‘уже не продается’).

– Где же он **живет**?

– **Жил**, – совершенно спокойно поправила дочь, – Алексей Иванович умер (Д. Донцова. Несекретные материалы).

Если обратиться к использованию отдельных граммем времени, то станет ясно, какой богатый диапазон прагматических оттенков они способны реализовывать. Возьмем для примера русские формы прошедшего

времени. В контексте настоящего или будущего события такая форма может означать бóльшую категоричность, безусловность действия.

Например, если человек, выходя из дома, говорит остающимся членам семьи: «*Я пошел*», то это означает не просто ‘я ухожу’, а ‘я ухожу и прерываю контакт’. То есть «если вы мне еще что-то скажете, я все равно не услышу». Ср. литературную иллюстрацию:

…Насупившаяся Женя стояла перед Ольгой, а та ей говорила:
– Я **поехала** с вещами, а ты **приберешь** квартиру. … Потом запри дверь. Книги отнеси в библиотеку (А. Гайдар. Тимур и его команда).

Здесь «поехала» обозначает действие, которое еще не состоялось, но совершенно обязательно состоится в ближайший момент. Кстати, и «приберешь» – это не просто «предсказание» будущего действия, но приказ к его выполнению (не случайно рядом стоят императивные формы *запри* и *отнеси*).

Психологически это нетрудно обосновать: если говорящий представляет будущее действие как уже свершившееся, то он нисколько не сомневается в его реализации. В этом свете нет ничего удивительного и в том, что форма прошедшего времени с «категоричным» оттенком может употребляться просто как экспрессивный синоним формы повелительного наклонения:

– Это он тебя послал, да?
– Ррруки **убрала**! – прикрикнул Чухчеев, ежась от холода (Б. Акунин, Г. Чхартишвили. Кладбищенские истории; здесь *убрала* – ‘убери’).

– А ну **пошла-ка** ты отсюда, сестренка, на хрен, поняла?!! – вдруг рявкнула на нее Ирина совершенно чужим и абсолютно трезвым голосом. – Быстро! Просто **поднялась** сейчас и **ушла**! (Г. Романова. Обмани меня красиво; *пошла* – ‘иди’; *поднялась* – ‘поднимись’; *ушла* – ‘уйди’).

Причем у таких форм прошедшего времени по сравнению с обычными императивными формами может развиваться «результативный» (перфектный) оттенок: они склонны обозначать некий промежуточный итог – состояние, вслед за которым наступит некоторое другое действие:

Собирай мальчиков, по кустам **расползлись** и вперед, за Родину, за Сталина! Возьмешь – «Красное Знамя», не возьмешь – сдавай партбилет, ясно? (В. Некрасов. Саперлипопет).

Забот немного. Утром всех **растолкала, выпроводила**, с собаками **погуляла, покормила** их и кошек, продукты **купила, приготовила** – и отдыхай (Д. Донцова. Маникюр для покойника).

Некоторые славянские языки располагают более сложной, разветвленной системой глагольных времен. В частности, в болгарской грамма-

тике принято выделять девять времен. Кроме настоящего, здесь представлены четыре прошедших времени (имперфект, аорист, перфект и плюсквамперфект) и четыре будущих (простое будущее, будущее в прошедшем, будущее предварительное и будущее предварительное в прошедшем). Практически все они обладают набором дополнительных модальных значений. Среди последних грамматики называют уверенность или неуверенность, нереальность, гипотетичность, недовольство, досаду, деликатность, желательность и многое другое.

В других славянских языках сохранились лишь отдельные фрагменты разветвленной некогда системы прошедших времен. Так, в польском существует давнопрошедшее время (в европейской традиции именуемое плюсквамперфектом). Его формы образуются сочетанием вспомогательного глагола być с личной формой прошедшего времени основного глагола и обозначают действие, совершившееся в прошлом ранее другого состоявшегося действия. Пример:

Już co do pani Słuczańskiej, tej zdziwionej zawsze Renaty, to rzeczywiście **mogłam była mniemać**, że znam ją dobrze (Z. Nałkowska. Niedobra miłość; перевод: ‘Что же касается пани Случаньской, этой вечно удивленной Ренаты, то в свое время я действительно могла предполагать, что ее хорошо знаю’).

Давнопрошедшее время на правах периферийного явления сохраняется и в белорусской грамматике: здесь *быў прыйшоў* значит ‘пришел’ (ранее другого события в прошлом), *была закахалася* значит ‘влюбилась’ (ранее другого события в прошлом) и т. п. Литературный пример:

Дзед Талаш наўперад **быў** крыху **замяўся**, але вайскоўцы населі дружней (Я. Колас. Дрыгва; перевод: ‘Дед Талаш сперва немного замялся, но военные насели дружней’).

Употребление таких форм в речи несет определенную стилистическую окраску: оно указывает на сдвиг ситуации или в пространстве (как диалектизм), или во времени (как архаизм).

В русском о существовании плюсквамперфекта напоминают сегодня сочетания глаголов с частицей *было*. Они обозначают действие, предшествующее какому-нибудь другому, но так и не осуществившееся, не доведенное до конца: *он пошел было, да вернулся; мы было совсем собрались, а тут гроза* и т. п. С учетом сложности описываемой ситуации говорящий может воспользоваться данным средством для того, чтобы передать заодно свое личное отношение к действию. Примером послужит следующая цитата.

Это была совсем новая улица, на которой он жил, и никто не мог мне объяснить, как к ней пробраться. Один **было объяснил**, и я долго вышагивал по старому городу… (А. Битов. Путешественник. Дубль).

Наличие при глаголе *объяснил* частицы *было* заставляет понять фразу так: объяснение было неполноценным, не достигшим своей цели. Иными словами, встречный объяснил дорогу **плохо**!

Категория лица. Об этой категории уже шла речь в лекции, посвященной личным местоимениям. Глаголы активно сотрудничают с местоимениями в том, что касается структурирования (представления) коммуникативной ситуации. Стандартная структура этой ситуации, утвержденная языком («говорящий – слушающий – некто или нечто, не участвующее в акте коммуникации»), обусловливает развитие прагматических оттенков у того или иного грамматического лица.

Ранее уже приводился пример «передела» коммуникативного пространства: говорящий задает вопрос своему собеседнику («Наша?»), а отвечает за него другой человек («Чужая»), который, строго говоря, до тех пор находился за пределами речевого акта. А вот еще одна иллюстрация на данную тему. В романе А. Степанова «Порт-Артур» разговаривают трое: прапорщик Звонарев, генерал Кондратенко и самый высокий чин – начальник укрепрайона Стессель. Звонарев обращается к Кондратенко:

– Какие будут приказания вашего превосходительства? – спросил прапорщик.

– Приказание будет одно, – вместо Кондратенко ответил Стессель, – идти ко мне завтракать.

Звонарев поблагодарил и пошел за начальством.

– Вы где сейчас пребываете и что делаете? – обернулся к прапорщику Стессель.

– Состоит при мне, – объяснил Кондратенко. – Принимал участие в последнем деле и чудом только уцелел.

Здесь, как мы видим, начальство наперебой отвечает за прапорщика, почти не давая тому открыть рот. В принципе такая ситуация конфликтогенна, но только не в данном случае: «старший» имеет право ответить за «младшего». «Присваивание себе» роли собеседника, таким образом, может сказать нам многое о речевом статусе говорящего.

Приведу теперь пример из гоголевской «Шинели». Главному герою, мелкому чиновнику в департаменте, поручили из одного документа сделать другой. Процитирую: «Дело состояло только в том, чтобы переменить заглавный титул, да переменить кое-где глаголы из первого лица в третье». Очевидно, содержание документа при этом не менялось. Но в чем же тогда состояла суть работы чиновника? Если формы 1-го лица (*сообщаю, прошу, подтверждаю* и т. п.) заменялись на формы 3-го лица (некто *сообщает, просит, подтверждает* и т. п.), то менялся жанр документа: из жалобы или заявления он превращался в донесение, отношение, служебную записку. Автор текста как бы отстранялся от роли субъекта действия и становился его свидетелем или вовсе посторонним лицом.

Грамматическое лицо действительно оказывается важной характеристикой **жанра и стиля**. Можно взять толстенную книгу и не найти там ни одной формы 1-го или 2-го лица (например, если это будет Уголовный кодекс или учебник зоологии). Особенно же интересно распределение лиц в художественном произведении. Тут говорящий расщепляется на ипостаси автора, рассказчика (повествователя) и героя. И это имеет принципиальное значение для художественного строя текста. Скажем, в «Пиковой даме» А. С. Пушкина повествователь то воплощается в одного из персонажей, то отдаляется от участников события, наблюдает за ними со стороны (В. В. Виноградов, 1980). Понятно, что выбор той или иной стратегии означает налаживание определенных отношений с читателем. Вот признание современного автора:

> Я сочинял прочненький рассказец об этом поражении... каких давно не сочинял. **Он был в третьем лице**. Фамилия героя была Карамышев. ... И опять эти затруднения с выбором профессии Карамышева... **Тьфу на это третье лицо!** (А. Битов. Наш человек в Хиве).

Смена лица может означать не просто «сдвиг в пространстве», перераспределение ролей между участниками ситуации, но и «сдвиг во времени», принципиальную смену самой ситуации, ср. диалог:

> – Но я не думаю, что всё, как вы утверждаете, скоро вернется на круги своя. То, что происходит, – устойчивая тенденция. Она если не навсегда, то очень надолго.
>
> – Может быть. **Посмотрим. Кто-то посмотрит** (Московские новости. 1998. № 40; интервью с режиссером Валерием Фокиным).

В этой цитате использование 3-го лица вместо 1-го («Кто-то посмотрит», а не «Мы посмотрим») выражает мнение говорящего: «ситуация, может быть, и изменится, да только не при нас: мы до этого не доживем».

Надо сказать, что глаголы ведут себя по отношению к грамматическому лицу неодинаково. Во-первых, существуют так называемые безличные глаголы, вся сфера функционирования которых ограничивается 3-м лицом единственного числа (*светает, подмораживает, тошнит, везет* и т. п.). Характерно, что в прошедшем времени они принимают форму среднего рода, что только подчеркивает их «бессубъектность».

Во-вторых, у некоторых «личных» глаголов парадигма словоизменения оказывается неполной: формы отдельных лиц от них по тем или иным причинам не образуются. Так, в русском языке от глаголов *победить, дудеть, галдеть, очутиться* и некоторых других невозможно образовать форму 1-го лица единственного числа. И если в речи все же встречается такое образование, то за ним стоит дополнительный смысл: по-видимому, для говорящего не существует речевых запретов или он просто не особо грамотный, ср.:

Жизнь надо знать, парень. К примеру, в поселке судачат про убийство Аньки Слежевской. А я **шурупю**, то есть **шуруплю**, поскольку выпить хочется… (С. Родионов. Цветы на окнах).

– Брось, Никита, – сказал Чинариков. – Смешно кипятиться по пустякам.
– Да я не потому… это… **кипятюсь**, что Петька намазал мне ручку двери, а потому что он гадости делать большой мастак! (В. Пьецух. Новая московская философия).

В-третьих, некоторые лексико-семантические группы глаголов предъявляют к грамматическому лицу особые условия. Так, логики (Дж. Остин) выделили особый класс глаголов (перформативы), которые обозначают речевое действие, равноценное поступку. Для этого перформатив должен быть употреблен в 1-м лице единственного числа настоящего времени: *Я клянусь, Я обещаю, Я поздравляю, Я объявляю войну* и т. п. Произнося такую фразу, говорящий **не называет или описывает действие, а совершает его.**

Как уже отмечалось, личная сфера говорящего оценивается изначально положительно. Поэтому глаголы, содержащие в своем значении отрицательную окраску (*норовить, якшаться, прохлаждаться, сдуреть, повадиться, вздумать* и т. п.) плохо сочетаются с 1-м лицом. Трудно себе представить контекст типа *Я всегда норовлю пролезть без очереди*…

Из представленных примеров вытекает, что между грамматическими категориями глагола в системе языка существует внутренняя связь и взаимообусловленность. Можно даже говорить о том, что отдельные граммемы – времени, лица, числа – испытывают как бы взаимное тяготение, т. е. сочетаются между собой с легкостью большей, чем это имеет место в других случаях (Ю. А. Пупынин, 1990).

Для категории лица также весьма характерно употребление форм в **переносных значениях** (транспозиция).

В частности, в русской грамматике принято выделять обобщенно-личные предложения, основным структурным признаком которых является 2-е лицо единственного числа. Но под маской адресата сообщения здесь выступает, по сути, любой человек, в том числе и сам говорящий. Чаще всего в качестве примеров таких предложений приводятся пословицы и сентенции типа *Без труда не вытащишь и рыбку из пруда, Тише едешь – дальше будешь, Не подмажешь – не поедешь* и т. п. Но вот пример посвежее, из песни Владимира Высоцкого, муж жалуется жене на жизнь:

Тут за день так **накувыркаешься**,
Придешь домой – там **ты сидишь**

(*В. Высоцкий.* Диалог у телевизора)

Здесь первые две глагольные формы – *накувыркаешься* и *придешь* – обозначают действия самого говорящего. Но они обобщают его опыт, представляют его в качестве, так сказать, общечеловеческого. А уже третья форма – *ты сидишь* – относится непосредственно к адресату, это форма 2-го лица в своем прямом значении.

Балансирование между прямым (адресатным) и переносным (обобщенным) значением формы 2-го лица единственного числа иногда составляет своего рода тактику говорящего:

Из-за угла, ослепив своими фарами, вынырнул автомобиль. Я отскочил с мостовой на тротуар. Одновременно со мной отшатнулся какой-то человек бездомного вида [...] Усмехнулся и говорит:

– Смерти **не боишься**, а вот от машины все-таки **отскакиваешь**.

Я говорю:

– Так уж и не боитесь?

– Чего ж ее бояться. И жизнь не такая уж отличная (Л. Пантелеев. Приоткрытая дверь; только из дальнейшего контекста выясняется, что *смерти не боишься* и *отскакиваешь* – это бомж говорит о себе!)

Транспозитивное употребление формы 3-го лица множественного числа – это удобный и узаконенный языком способ устранения субъекта действия. Вот в поэме «Хорошо!» Владимир Маяковский описывает реакцию Александра Блока на революционные беспорядки 1917 года:

Пишут...
из деревни...
сожгли...
у меня...
библиотеку в усадьбе.

Кто «пишет»? Неважно кто: родственники, соседи... Кто «сжег?» Неизвестно кто: крестьяне, большевики, анархисты... – важно, что библиотеки больше нет (форма 3-го лица множественного числа подчеркивает перфектный характер действия в прошлом). Понятно, что такая форма облегчает деятельность говорящего тогда, когда субъект действия или объективно трудно назвать, или не хочется называть по имени. Еще пример:

– Бузыкины! Вы когда-нибудь кончите базарить?
– Кто говорит?
– Снизу **говорят**!
– А в чем дело?
– А в том, что у нас тут люстра качается! (А. Володин. Осенний марафон).

В других славянских языках категория грамматического лица обладает своими прагматическими особенностями. В частности, в польском языке искони было принято вежливое обращение к собеседнику через pan и форму 3-го лица: wie pan... 'вы знаете', pan musi przyznać... 'вы должны

признать' и т. п. Но в эпоху строительства социализма в польский язык из русского было привнесено вежливое wy (множественное число 2-го лица, употребляемое применительно к единичному собеседнику). И в течение нескольких десятилетий wy-форма воспринималась там как «советизм», обязательный в устах представителей власти, военных, милиционеров (а также при обращении к таковым). Ныне эта форма обращения к собеседнику практически вышла из употребления, однако остается ярким выразительным средством в художественной литературе: это знак эпохи (Л. Писарек). Показателен в данном отношении следующий пример – разговор двух старых партизан (у одного из них даже кличка – «большевик»):

Nie **siedzieliście** w piotrkowskim więzieniu? W trzydziestym czwartym?… Nigdy nie **szukaliście** nas, swoich? (T. Konwicki. Zimowy zmierzch; перевод: 'Вы не сидели в тюрьме в Петркове? В тридцать четвертом?.. Никогда не искали нас, своих?').

В некоторых – ограниченных – ситуациях pan в польском заменяется на существительное. Кроме названий старших родственников (ciocia 'тетя', babcia 'бабушка' и т. д.), это могут быть ksiądz 'ксендз', szef 'шеф', kolega 'коллега' и некоторые другие. Говорящий таким образом отмечает особое положение данных лиц в кругу своего общения, ср. пример:

– **Szef słyszał**? – zapytał kapral…

Inspektor wzniósł dłoń (A. Wydrzyński. Nieuniknione; перевод: «Вы слышали?» – Инспектор махнул рукой').

Очень интересны распространяющиеся в польской разговорной речи контаминированные формы «pan + 2-е лицо единственного числа глагола»:

– Czyś **pan zwariował**? Nie **widzisz pan**, że drogę budujemy? (J. Osęka. Plaża; перевод затруднен: то ли 'Вы что, с ума сошли? Не видите, что мы дорогу строим?', то ли 'Ты что, с ума сошел? Не видишь…' и т. д.).

С одной стороны, здесь присутствует показатель вежливости pan, а с другой – обычная «тыкающая» форма глагола. Встречаются такие сочетания и с формой повелительного наклонения. Так, в следующем контексте вместо правильной формы niech pan siedzi употреблена siedź pan. Говорящему ни к чему быть «слишком вежливым»:

Nie zgadza się pan ze słuszną linią, **siedź pan** w domu i nie dawaj wyrazu (J. Hen. Oko Dajana; перевод: 'Не согласны вы с правильной линией, так сиди дома и не выступай').

Категория наклонения. Наклонение – регулярное морфологическое средство выражения модальности. Это значит, оно прагматично по самой

своей природе. Даже форма изъявительного («нулевого», по определению А. М. Пешковского) наклонения способна выражать целую гамму отношений: возможность, желательность, необходимость и т. д. Когда человек говорит: «Не понимаю я эту молодежь», это значит: ‘я не могу понять’. Когда он говорит: «Я не зову на день рождения гостей», это значит: ‘я не хочу звать’.

Диапазон повелительного наклонения (императива) тоже достаточно широк: от деликатной просьбы или пожелания до категорического приказа (это если не считать переносного значения данных форм, типа *Приди он на минуту раньше*…или *Корми его, убирай за ним*…). Если говорящего такая широта обозначаемых отношений не устраивает, он может выбрать более ясную, однозначную форму. В случае с деликатной просьбой конкуренцию императиву составляет сослагательное наклонение (*Посиди со мной – Посидел бы ты со мной*), а в случае с приказом – инфинитив (*Сиди – Сидеть!*).

Наиболее естественно употребление повелительного наклонения по отношению ко 2-му лицу. Применительно к 1-му и 3-му лицам семантика побудительности «размывается», сопрягается с другими оттенками. В лирике Пушкина, например, читаем:

Пускай увижу милый взор,
Пускай услышу голос милый…

«Пускай увижу», «пускай услышу» – это, считается, аналитические формы повелительного наклонения (в 1-м лице единственного числа). Но легко почувствовать здесь оттенок гипотетичности (‘хорошо бы увидеть…’). Если это и просьба, то адресованная скорее не себе, а неким высшим силам…

Очень интересны глагольные формы, выражающие побуждение к совместному действию (говорящего и его собеседника или собеседников). Психологически это непростая ситуация: что значит приказать (или посоветовать) себе и одновременно другому? Такой коллективный адресат вряд ли будет однородным, да и императивная сема в таком случае смягчается, микшируется иными семами: взаимности, будущности и т. п. Может быть, поэтому в русском языке эти формы не получили развития, хотя в литературе XIX века употреблялись довольно часто. Причем окончание *-м* соответствовало двойственному числу субъекта, а *-мте* – множественному. Но очень скоро это различие стерлось, ср.:

Сядемте, Елена Николаевна, вы как будто не совсем здоровы… (И. С. Тургенев. Накануне).

Выпьемте, господа, натурального. Стоит ли его чаем портить? **Выпьем**, господа «пушечное мясо» (В. Гаршин. Из воспоминаний рядового Иванова).

Поскольку же побуждение имеет в виду действие в будущем, то в том же значении оказывается проще употребить форму обычного будущего времени: *сядем, выпьем* и т. п. (Тем более, что внешне эта форма как раз и совпадает с простым будущим временем.) При большой необходимости можно добавить частицу *давай, давайте*: *давайте сядем* и т. п. Таким образом различие между побуждением к действию и будущим действием множественного субъекта нейтрализуется. Встречая сегодня контексты типа *сядем, выпьем, отдохнем* и т. п., мы не знаем, приглашает ли говорящий собеседника к совместному действию или же просто указывает, что оно должно наступить одновременно для нескольких субъектов.

– Знаете что, – предложил я, – пойдемте, **посидим** у меня, **порешаем** задачки… (Е. Замятин. Мы).

– Довольно, довольно лизаться, – проворчал Буратино, – бежимте. Артамона **потащим** за хвост (А. Н. Толстой. Золотой ключик, или Приключения Буратино).

Однако в некоторых славянских языках – белорусском, украинском, польском – значение побуждения к совместному действию имеет свое морфологическое выражение (отличное от формы будущего времени). Это, по-видимому, способствует формированию (обособлению) соответствующей интенции в сознании говорящего. В частности, в польских текстах данные формы употребляются довольно активно:

Mówmy pełnym głosem, **uczmy** nienawiści, miłość jest w naszej idei (K. Brandys. Obrona «Grenady»; перевод: ‘Давайте говорить во весь голос, давайте учить ненависти, любовь заложена в нашей идее’).

Więc **nie traćmy** czasu ne przeszłość i **zastanówmy się**, co zrobić, żeby przyszłość była dla nas świetlana (B. Loebl. Meta nasza pijana; перевод: ‘Давайте не будем тратить времени на прошлое и подумаем, что сделать, чтобы будущее было для нас светлым’).

В болгарском и македонском языках встречается еще и такое «экзотическое» наклонение, как пересказывательное. Основное и общее его значение – «несвидетельскость». Употребляя формы этого наклонения, говорящий тем самым снимает с себя ответственность за достоверность передаваемой информации: это лишь его предположение или же отсылка к чужому мнению, чужим словам. Например, по-болгарски *приличам на баща си* означает ‘я похож на своего отца’. Но если мы встречаем в тексте *приличал съм на баща си*, то это значит ‘я, **говорят**, похож на своего отца’.

Конечно, и в русском языке можно передать значение «несвидетельскости» – с помощью выражений типа *говорят, что…; я слышал, что…;*

ходят слухи, что… и т. п. С той же целью используются еще частицы *дескать, -де, мол, якобы…* Но данный смысл выражается нерегулярно, только в особых случаях, как в следующей цитате:

Думаешь, царь**-де** наш гневен и слеп,
Он**-де** не ведает нашей нужды…
(*Д. Самойлов.* Стихи о царе Иване)

Существенно, что болгарские формы пересказывательного наклонения развивают в себе широкий спектр дополнительных, вторичных значений, в том числе эмоциональных – таких как недоверие, удивление, восхищение, возмущение, ирония и т. п. Ученые активно дискутируют по поводу того, можно ли все эти прагматические оттенки объединить «под крышей» одного наклонения. Литературные примеры:

О-хо-о!.. Значи, вие **сте били йезуит**? – тържествено установи Клара (Д. Димов. Осъдени души; ‘О-о! так вы, оказывается, иезуит? – торжественно установила Клара’).

Сечем зеле, а тя, като се навежда под носа ми и забеля ония крака, не е за разправяне. Миланке, викам, не се навеждай тъй, чичовото, че и аз душа нося. **Останало душа в тебе**, казва тя и се смее кисело, кисело (И. Петров. Лъжливи хора; перевод: ‘Рубим мы капусту, а она как наклонится у меня перед носом, покажет голые ноги – ну просто слов нет. Миланка, говорю, не наклоняйся ты так, девочка моя, а то ведь и у меня душа есть. Как же, говорит, есть у тебя душа, и смеется ехидно-ехидно’).

В подобных контекстах формы пересказывательного наклонения регулируют не только коммуникативную ситуацию, в которой задействованы собеседники, но и непосредственно отношения между ними.

Во многих славянских языках для выражения вежливой просьбы регулярно используются глагольные формы сослагательного наклонения, ср. болг. **Бихте** ли ми **направили** едно кафе (букв.: ‘Вы бы сварили мне кофе’); пол. Czy **zechciałby pan wpaść** do mnie za godzinę? (букв.: ‘Вы захотели бы зайти ко мне через час’), чешск. **Řekl byste** mi, kolik je hodin (букв.: ‘Вы бы мне сказали, который час’) и т. п. Стандартная коммуникативная ситуация автоматически «вычеркивает» у данных форм гипотетическое значение и заменяет его на этикетно-дезидеративное (тому помогает и вопросительная интонация, и частицы).

ЛЕКЦИЯ 8

ГРАММАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО И ИХ ПРАГМАТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

Место прилагательных (адъективов) в языковой системе, их коммуникативная роль определяется соотношением с другими частями речи – существительными, глаголами, наречиями. Различия, которые между ними наблюдаются, проявляются во многих сферах – морфологии, синтаксисе, стилистике...

Легче всего, конечно, сказать: существительные обозначают предмет, а прилагательные – **признак,** причем, в отличие от глаголов, они обозначают признак **статический**, а не динамический, не процессуальный (одно дело – сказать: «Мальчик грустный», а другое – «Мальчик грустит»). Но ведь сами категории типа «предмет», «признак» устанавливаются нашим сознанием не раз и навсегда, а применительно к конкретным условиям. В какой-то жизненной ситуации мы скажем: *шумная улица.* А в какой-то: *уличный шум*… Вот подходящие литературные иллюстрации:

Новиков задумчиво смотрел перед собою. В нем была и печаль, и радость: и **печальная радость**, и **радостная печаль** создавали в душе его светлое, как умирающий летний вечер, трогательное счастье (М. Арцыбашев. Санин).

...Друзья веселые простятся уже вот-вот со школою, чтобы потом вспоминать о ней – кто-то с умилением, а кто-то – вроде меня – **с тоскливым томлением**. (Или **с томительной тоской** – как лучше?) (Л. Рубинштейн. Духи времени).

Вот опять помянул я Твое имя. Неужели это правда мне знамение, а не просто случай? Или **знаменательный случай**? Или **случайное знамение**? (И. Губерман. Прогулки вокруг барака).

Ту же ситуацию можно проиллюстрировать фактами любого другого славянского языка. Скажем, на польском материале есть специальная ста-

тья Ядвиги Навацкой (J. Nawacka), посвященная многочисленным терминам-перевертышам типа obrabiarka automatyczna или automat obróbkowy (оба со значением ‘станок-автомат’).

Датский лингвист Отто Есперсен писал: «Лингвистически различие между “веществом” и “качеством” не может иметь большого значения. С философской же точки зрения можно утверждать, что мы познаем вещества только через их качества; сущность каждого вещества состоит в сумме тех качеств, которые мы в состоянии воспринять (или понять) как связанные друг с другом». Если же смотреть глубже, то различие между существительными и прилагательными сводится в конечном счете к тому, что первые создают некоторые категории, а вторые этого не делают (А. Вежбицкая). Так, мы легко представим себе классы «цветы», «деньги», «посуда», но с трудом представляем себе классы «пестрое», «старое», «стеклянное»…

А если уж сравнивать признак статический с признаком динамическим, то нам не обойтись без обращения к синтаксическим категориям. Дело в том, что воплощение признака в адъективную оболочку «развязывает руки» существительному для обогащения другим признаком – предикативным (ср. *Мальчик грустит* и *Грустный мальчик отвернулся*). Об этом, опираясь на исторические факты, со всей определенностью писал немецкий языковед Герман Пауль. Вот цитата из его «Принципов истории языка»: «Определение есть не что иное, как деградировавшее сказуемое». Это особенно важно для языков с богатой морфологией, в том числе славянских.

Возьмем для примера одно предложение из рассказа Владимира Набокова «Лик»:

> Освещенная комната была санитарно бела по сравнению с южным мраком в растворенном окне.

О комнате здесь говорится, что она была: а) освещена, б) бела, в) похожа на санитарное помещение, г) противопоставлена своим цветом черному окну, д) находилась где-то в южных краях. Но все эти признаки не составляют пять отдельных предложений, а с помощью прилагательных, причастий, наречий, а также служебных слов упорядочены таким образом, что образуют в итоге простое предложение! Значит, прилагательное не просто обозначает статический признак, но обладает своей особой ролью в структуре высказывания.

Однако насколько употребление прилагательных мотивировано коммуникативной необходимостью? Рассмотрим один пример из современной литературы:

Она уже складывала в коробки накрахмаленное до картонной жесткости белье и заворачивала в **мятую** газетную бумагу фарфоровые чашечки, когда началась война (Л. Улицкая. Чужие дети).

Что нам дает прилагательное *мятую*? Разве не ясно и так, что бумага либо и перед тем была мятой, либо должна была неминуемо смяться при заворачивании в нее чашек? Какую цель преследует писатель, употребляя это определение? Что, он хочет создать иллюзию достоверности, усилить свидетельский характер описываемого? Увлекается подробностями бытописания? Специально растягивает читательское время перед шокирующей концовкой: «когда началась война»?

Еще три примера, из другого автора, уже без комментария. Но они позволяют думать, что злоупотребление прилагательными, использование избыточных определений может быть и чертой авторского стиля.

– Никого не пускайте в мастерскую, пока я не вернусь! – И, придерживая **правой** рукой кобуру, он побежал в сторону площади, где был телефон-автомат (В. Михайлов. По замкнутому кругу).

Неожиданно мое внимание привлекла идущая за ним молодая женщина,. В **согнутой** руке она несла букет ромашек и книгу (В. Михайлов. Слоник из яшмы).

Проводник вносит чай с лимоном, **запечатанный** сахар и пачку печенья (В. Михайлов. Слоник из яшмы).

Надо сказать, борьба с ненужными определениями, «лишними» прилагательными велась русской литературной критикой еще в XIX веке. Антон Павлович Чехов писал в 1899 году молодому еще Горькому: «…Вычеркивайте, где можно, определения существительных и глаголов. У Вас так много определений, что вниманию читателя трудно разобраться и он утомляется. Понятно, когда я пишу: “человек сел на траву”; это понятно, потому что ясно и не задерживает внимания. Наоборот, неудобопонятно и тяжеловато для мозгов, если я пишу: “высокий, узкогрудый, среднего роста человек с рыжей бородкой сел на зеленую, уже измятую пешеходами траву, сел бесшумно, робко и пугливо оглядываясь”. Это не сразу укладывается в мозгу, а беллетристика должна укладываться сразу, в секунду».

Горький не очень-то внял этому совету. Вот образец его стиля через два с лишним десятилетия:

Могуче движется бархатная полоса темной воды, над нею изогнуто простерлась серебряная полоса Млечного пути, сверкают золотыми жаворонками большие звезды, и сердце тихо поет свои неразумные думы о тайнах жизни (Мои университеты).

Впрочем, Ролан Барт, известный французский семиолог, высоко оценивает такие «ненужные детали» в литературе. Они, по его мнению, способствуют созданию эффекта реальности. Благодаря им текст из повествовательного (предикативного по сути) регистра переключается в описательный (референциальный). «Описание представляется […] “исключительной принадлежностью” так называемых высших языков – как ни странно, именно потому, что оно лишено какой-либо целенаправленности в плане поступков или в плане коммуникации».

В развитие этой мысли скажу: мы можем найти контексты, в которых прилагательное играет конститутивную роль: без него данное предложение просто не состоялось бы. Рассмотрим с этой точки зрения еще один пример.

Быстро сделав несколько шагов с жуткой мыслью: «А вдруг она обманет, не придет?» – теперь казалось, что вся жизнь зависит от того, придет или не придет Аленка, – уловив среди запахов растительности еще и запах вечернего дыма откуда-то с деревни, Митя еще раз остановился, обернулся на мгновение: **вечерний** жук медленно плыл и гудел где-то возле него, точно сея тишину, успокоение и сумерки… (И. А. Бунин. Митина любовь).

Выделенное здесь определение *вечерний* оказывается не просто «на своем месте», без него предложение было бы неправильным, невозможным. Прилагательное помогает переключить внимание адресата с общего плана на крупный, ближний, как бы «меняет оптику», регулируя восприятие текста, – и это, несомненно, прагматически значимое свойство.

Но до сих пор речь шла о роли прилагательных вообще, безотносительно к особенностям их семантики. Чаще всего прилагательные делят на качественные (обозначающие собственное свойство предмета) и относительные (обозначающие отношение определяемого предмета к другим предметам). Причем среди качественных выделяются такие, которые обозначают признак объективный, не зависящий от оценки человека (*круглый, жидкий*) и такие, чья семантика обусловливается оценкой говорящего (*добрый, богатый*). С этим делением связаны и особенности функционирования данных разрядов. Как известно, качественные прилагательные образуют формы степеней сравнения, сочетаются с наречиями меры и степени, от них легко образуются отвлеченные существительные и т. д.; относительные всех этих свойств лишены.

Между качественными и относительными прилагательными существует и определенное **позиционное распределение**. Вообще, если в языке принята препозиция согласованного определения по отношению к существительному (как в русском), то иное расположение прилагательного несет с собой какой-то особый смысл. Например, в следующей цитате

постпозиция прилагательных – явная отсылка к канцелярскому стилю, к инвентарной ведомости:

Каково же было горькое удивление ревизоров, когда они не обнаружили в магазине ни муки, ни перца, ни **мыла хозяйственного**, ни **корыт крестьянских**, ни текстиля, ни рису (И. Ильф, Е. Петров. Золотой теленок).

А в «Записных книжках» у того же Ильи Ильфа встречается и прямое обыгрывание данного приема: ряд, начинающийся ботаническими (номенклатурными) названиями, заканчивается весьма неожиданно:

Миновав **иву вавилонскую**, **ясень обыкновенный**, **скамейку садовую** и **уборную женскую**, мы пошли прямо в ресторан, расположенный возле нескольких деревьев…

Но если определений при существительном несколько, то качественные обычно начинают собой группу прилагательных. Отступления от этого правила воспринимаются по крайней мере как стилистическая шероховатость. В частности, в следующей цитате определения *зимний* и *короткий* так и хочется поменять местами:

Был **зимний короткий петербургский** вечер. Стало темнеть. Зажгли лампу (А. И. Куприн. Дочь великого Барнума).

То же и в следующем фрагменте: прилагательное *прекрасный* выглядит в общем ряду определений «не на своем месте»:

Тут-то я и увидел, что уголок **изразцового прекрасного голубого** орнамента на портале одного медресе как-то странно заворачивается трубочкой (А. Битов. Наш человек в Хиве).

В других славянских языках могут быть свои ограничения, налагаемые на последовательность элементов «прилагательное – существительное». Например, в польском через пре- или постпозицию прилагательного выражается степень семантической связанности этого прилагательного с определяемым. В препозиции к существительному чаще находится качественное прилагательное: duży budynek ‘большое здание’, rzadki grzyb ‘редкий гриб’, ciężka praca ‘тяжелая работа’. В постпозиции – видовое, квалифицирующее определение (обычно – относительное прилагательное). Польские лингвисты формулируют это различие так: в препозиции находится **характеризующее** слово, в постпозиции – **выделяющее**. Не случайно составные термины типа praca domowa ‘домашнее задание’, rodzaj nijaki ‘средний род’, wyraz dźwiękonaśladowczy ‘звукоподражательное слово’ всегда включают в себя прилагательное на втором месте.

Впрочем, в отдельных случаях указанный порядок может нарушаться. Это происходит, по словам Станислава Йодловского (S. Jodłowski, 2001),

когда на видовое определение падает смысловое ударение – тогда оно перемещается в препозицию (**Normalny** bilet mi kupcie! ‘Купите мне нормальный билет!’), или же особый «эмоциональный тон», наоборот, передвигает качественное прилагательное в постпозицию (Za miesiąc dam mu odpowiedź **stanowczą** ‘Через месяц я ему дам положительный ответ’). И в том и в другом случае отклонение от правил мотивировано, очевидно, стремлением говорящего оказать на своего собеседника больший эффект.

Категория степеней сравнения. Прилагательные играют важнейшую роль в выражении оценки. Собственно, их семантика сочетает в себе два компонента: денотативный (референтный) и оценочный. Если денотативный компонент участвует в классифицирующей деятельности человека (он сужает объем понятия, ср. общее понятие «стол» и понятия «письменный стол», «круглый стол», «диетический стол»), то оценочный компонент обслуживает прагматику. Например, когда мы обращаемся к кому-то: «Дорогой Иван Петрович», это значит примерно: ‘Иван Петрович, вы – близкий мне (нам) человек’. И если мы говорим о ком-то: «Бедный Вася», то это вовсе не констатация Васиной бедности, а чистая аксиология: ‘Я жалею Васю’. Литературная иллюстрация:

> А Ольга Александровна ходит немного шаткими шагами по кухне, заливаясь светлыми слабыми слезами и испытывая непрестанную муку сострадания ко всему живому и неживому, что попадается ей на глаза. […] Все она мысленно гладит рукой, ласкает и твердит про себя: **бедная девочка… бедная кастрюлька… бедная лестница**… (Л. Улицкая. Бедные родственники).

«Общая прагматическая функция оценки состоит в том, чтобы представить в словах и упростить опыт с точки зрения возможных действий или развития событий» (H. Hannapel, H. Melenk). При этом, как замечают те же авторы, оценка всегда размыта, градуирована. Обозначение **разной степени признака** – это, конечно, прерогатива качественных прилагательных. Кроме положительной степени, принято выделять еще две: сравнительную (компаратив) и превосходную (суперлатив). И не столь важно, выражается ли степень признака синтетически, морфологическими средствами (типа русск. *выше, красивее, дальше*), аналитически (*более удобный, менее интересный, наиболее крутой, самый лихой, умнее всех*) или супплетивно (*хороший – лучше, плохой – хуже*). Во всех случаях перед нами уже регулярно выражаемое грамматическое значение.

В каждом языке действуют свои правила образования форм степени. Но везде есть и свои лексические ограничения на этот процесс. Так, в следующих русских высказываниях мы сталкиваемся с нарушением ограничений: от слов *мусорный, железнодорожный, казенный, рядовой* обра-

зованы формы сравнительной степени (хотя для относительных прилагательных сравнительные формы не характерны).

Потом все, конечно, стало хуже, тусклее, **мусорнее** и увяло окончательно ровно через год (Ю. Нагибин. Из дневниковых записей).

Руководителю тут же предложили мотористок и плотника изъять, а взамен набрать кого-либо **по-железнодорожней** (Л. Жуховицкий. Компания).

А что нам за дело, что вы казенные; мы чай еще **казеннее** вас. Пошли, пошли отсюда… (Т. Толстая. Кысь).

Значит, Петр Борисович Лиго был рядовой – **рядовее** не бывает! – программист, и в его конторе все тоже уверены, что он помер (Т. Устинова. Подруга особого назначения).

Подобные примеры показывают, что граница между качественными и относительными прилагательными нестрога: даже в семантике явно относительного адъектива, вроде *мусорный*, можно обнаружить способность к градации. Еще интересенее случаи образования окказиональных степеней сравнения от имен существительных (обычно обладающих оценочной окраской), ср.:

Марик!.. Дружок мой, до колонии мы с ним хулиганили. А потом, говорят, **шпаней** его в Лианозове не было (С. Каледин. Смиренное кладбище).

Край света. И если встать на коленки и хорошо перегнуться за этот край Земли, то увидишь черный космос, как на картинке в детской книге. Короче, дыра дырой, **дырее** не бывает (В. Токарева. Как я объявлял войну Японии).

Действительно, опыт человека подсказывает ему, что даже постоянные свойства предмета могут проявляться в разной степени. Вот как описывает журналист роль особой добавки в японской кулинарии:

Назначение адзи-но-мото – усиливать присущие продуктам вкусовые особенности. Если, скажем, бросить щепотку этого белого порошка в куриный бульон, он будет казаться более наваристым, то есть более «куриным». Морковь подобным же образом будет казаться более «морковистой», фасоль – более «фасолистой», а квашеная редька станет еще более ядреной. Каждый продукт, таким образом, в большей степени становится самим собой (В. Овчинников. Ветка сакуры).

Мы видим, что присущая прилагательным категория степеней сравнения как бы распространяет свое влияние и на другие лексико-грамматические разряды слов – достаточно, чтобы в их значении наличествовала сема оценки. Поэтому лингвисты предлагают выделять общую функционально-семантическую категорию градуальности: ее ядерную зону образует грамматическая категория степеней сравнения, а перифе-

рию – разнообразные словообразовательные, лексические и синтаксические средства.

Но использование форм типа *казеннее* или *мусорнее* – это, конечно, не только окказиональное градуирование постоянного признака. Это еще и налаживание отношений с собеседником через «размягчение» нормы, через демонстрацию степени речевой свободы. Любопытно, что в некоторых славянских языках степень такой свободы больше.

В частности, в болгарском формы компаратива и суперлатива образуются регулярно с помощью одних и тех же средств: префиксов *по-* и *най-*, ср.: *нов* ‘новый’ – *по-нов* ‘новее’ – *най-нов* ‘новейший’. И такое унифицированное средство оказывается довольно удобным для выражения не только степени признака, но и интенсивности действия, уровня компетенции человека, членения пространства и т. п. В этих случаях *по* (тут оно уже пишется раздельно со словом и сопровождается знаком ударения) присоединяется к глаголам, существительным или обстоятельственным комплексам. По-болгарски можно сказать: «Той е пò англичанин от множина англичани» ‘Он больший англичанин, чем многие англичане’ или «Ти пò знаеш тия неща» ‘Ты лучше знаешь эти вещи’. Литературные примеры:

> Фео е председател на класа […] и за студент го приеха в Свищов, а Красимир на Георгиеви не успя да влезе във външната търговия и след две години още **пò** няма да влезе (Г. Мишев. Вилна зона; перевод: ‘Фео – староста класса […] и он поступил в Свиштове в вуз, а у Георгиевых Красимир не поступил на внешнюю торговлю, и через два года тем более не поступит’).

> «Ха да видим кой е **пò** на сметка!» – помисли той и си намигна в огледалото (К. Грозев. Службата си е служба; перевод: «Посмотрим-ка, кто больше выгадал», – подумал он и подмигнул себе в зеркале’).

В подобные сочетания вступает и показатель превосходной степени *най*, хотя его сочетательные возможности более ограничены. Можно по-болгарски сказать *най майстор* ‘лучший мастер’ или *най в центъра* ‘в самом центре’, но в целом такие конструкции встречаются реже.

Конечно, в этих случаях уже невозможно говорить о *по* и *най* как о префиксах: тут это особые служебные слова – частицы. Но для нас интересно то, что употребление этих аналитических средств, с одной стороны, напоминает об их «приадъективном происхождении», а с другой стороны, дает говорящему возможность «поэкспериментировать» с языком, испытать запас его прочности.

Кстати, в болгарском категория степеней сравнения взаимодействует с категорией определенности. Если форма превосходной степени сопровождается присоединением артикля, то она выделяет предмет по данному

признаку как не имеющий себе равных. Если же артикля при этой форме нет, то форма получает значение так называемого элатива, выражающего «высокую, но не наивысшую степень признака» (Ю. С. Маслов, 1981). Сравним два примера: *По това време улицата е* ***най-шумната*** ‘В это время эта улица самая шумная (в городе и т. п.)’ и *По това време улицата е* ***най-шумна*** ‘В это время улица очень шумная’.

В русском языке форма превосходной степени может иметь и собственно суперлативное, и «элативное» значения. Так, говоря о ком-то «крупнейший ученый», мы вовсе не обязательно думаем, что данный человек – самый крупный **из всех** ученых (это подтверждается возможностью образования формы множественного числа, например: *крупнейшие ученые страны* и т. п.). Казалось бы, как же может превосходство в каком-то качестве быть установлено безотносительно к другим предметам, без сравнения с ними? Но в языке это возможно и даже психологически объяснимо: говоря «крупнейший ученый», мы **как бы предлагаем допустить**, что перед нами ‘самый крупный из всех ученых’. Таким образом, мы убеждаемся в том, что формы степеней сравнения могут выражать весьма разнообразные смысловые оттенки, а сама категория внутренне связана в системе языка с другими категориями – такими как определенность, число или вид.

Краткие формы прилагательных. Большинство современных славянских языков не знают противопоставления полных и кратких форм (полные возникли путем прибавления к исходным формам прилагательных указательных местоимений). В современном русском языке, как известно, краткие формы сигнализируют предикативную роль прилагательного, ср.: *острый карандаш – карандаш остер*. В соответствии с тем, что говорилось ранее о противопоставлении статического и динамического признаков, можно утверждать, что краткая форма всегда называет основной (предикативный) признак предмета из числа тех, которые указаны в данном предложении. Покажу это еще на одном примере:

Весела твоя радость короткая
С громкой песней весной на лугу

(*С. Есенин.* Русь)

То, что *радость* – какая? – *короткая* или какая? – *с песней*, – отходит в этом двустишии на второй план. А на первый план (как бы это ни казалось странным) выходит то, что *радость – веселая*.

Но, по правилам русского языка, краткие формы образуются только от качественных прилагательных, притом далеко не от всех (запреты здесь многообразны и довольно случайны). И в целом краткие формы употребляются нечасто. Даже в позиции сказуемого может быть употре-

блена (как вариант) полная форма прилагательного, ср.: *Тогда я был молод / Тогда я был молодой*. В подобной ситуации, по мнению американского слависта Леонарда Бэбби, полная форма указывает на класс, к которому относится подлежащее, а краткая этого не делает.

Образование кратких форм от «запрещенных» качественных прилагательных, а тем более от относительных, возможно только при настрое на языковую игру.

Наша жизнь – не игра, собираться пора!
Кант **малинов** и лошади серы
(*Б. Окуджава.* Проводы юнкеров)

Забор был высок и **длинн**. Ой, такого слова, кажется, нет, но вы поняли, о чем я.... Черт, а если он **кругл**? Вот, опять словечко... (А. Кивинов. Улица разбитых фонарей).

Благополучие двухмерно, и плоский дух его **колбасен** (И. Губерман. Иерусалимские гарики).

Таганку ли пройти, Васильевский ли спуск, но главное, решить, кто по понятьям **русск** (Д. Быков. Маршеобразное).

В моей картотеке масса подобных примеров из художественных и публицистических текстов: *северен, шинелен, футболен, голуб, хвостат, перепончатокрыл, плоск, творческ*... А, скажем, в поэзии Дмитрия Пригова излюбленный прием – употребление кратких форм без вставной гласной: *беспечн, неуютн, нежн.* Все это – окказиональные формы, мотивированные, с одной стороны, наличием внутриязыковых «прецедентов» (форма стремится к максимальной регулярности), а с другой – стремлением говорящего выделиться, обратить на себя внимание, поддержать неформальный контакт с адресатом (читателем).

Отдельная тема – **притяжательные прилагательные**, подразряд относительных. В некоторых славянских языках их практически нет. Так, в польском представлены только остатки этого словообразовательного типа, прилагательные вроде matczyn ‘материн, материнский’. Зато считается, что они довольно широко распространены в белорусском, ср.: *настаўнікава хата* ‘дом учителя’, *Коласавы вершы* ‘стихи Коласа’, *братава паліто* ‘пальто брата’, *лісіная нара* ‘лисья нора’ и т. п. В русском языке XIX – начала XX века подобные образования были активнее, чем сегодня, ср. примеры из романа Федора Сологуба «Мелкий бес»: *хозяиновы слова, два предводителевы сына, директоровы неприязненные отношения* и т. п.

В современном русском языке притяжательные прилагательные образуются с помощью суффиксов *-ий, -ин/-ын* и *-ов/-ев.* Прилагательные на

-ий обозначают прежде всего принадлежность животному: *лисий, медвежий, волчий, верблюжий, сорочий…* – всего их, по данным словарей, около сотни, включая какие-нибудь *комарий, бизоний, скорпионий* и т. п. В текстах этот список расширяется, и у таких новообразований есть некая эстетическая (то есть прагматическая!) коннотация: *курий* (в сказках фигурирует *избушка на курьих ножках*), *мыший* («Жизни мышья беготня, Что тревожишь ты меня?» – А. С. Пушкин), *лошажий* («Берите пока что ногу лошажью» – В. Маяковский), *крысий* (*крысий писк* у М. Цветаевой) и т. п. Свежий пример:

Зятю **антилопьему** зачем такого сына?
Все равно – что в лоб ему, что по лбу – все едино

(*В. Высоцкий.* Жираф)

Прилагательные на *-ий/-ый* легко утрачивают собственно притяжательное значение, заменяя его на качественные оттенки и, через ограничение сочетаемости, идиоматизируются, т. е. вообще утрачивают собственное (отдельное) значение в таких выражениях, как *волчий аппетит, собачий холод, рыбий глаз, медвежья болезнь.*

Прилагательные на *-ин/-ын* и *-ов/-ев* еще более ограничены в своем образовании: чаще всего это слова, образованные от названий родственников (*мамин, бабушкин, отцов, дедов…*) и имен собственных (*Татьянин, Петров, Марьин…*). Постепенно они вытесняются формой зависимого родительного падежа в притяжательном значении: вместо *сестрина кофта* говорят *кофта сестры* и т. п. См. следующую цитату.

– …Она живет здесь, в Питере. Только сменила фамилию Кокорина на **мужнину**.

– Так не говорят, – поморщилась Лиза. – На фамилию мужа.

– Верно… (Ф. Незнанский. Ищите женщину).

В. В. Виноградов в середине XX века предвещал скорый закат притяжательных прилагательных в русском языке: по его словам, их «судьба лишена перспектив». Но оказалось, что дело обстоит не совсем так. Об этом говорит намеренное использование этой модели в современных контекстах типа:

Через месяц в тарасюковскую дверь позвонил **немцев** докторант, приехавший в Ленинград с тургруппой (М. Веллер. Легенды Невского проспекта).

Таковы были все эти закулисные интриги, и королева каждый день выслушивала **уборщицыны** крики и проклятия… (Л. Петрушевская. Принц с золотыми волосами).

Потолкавшись меж гражданских поближе, он сумел, однако, рассмотреть фрагменты: зеленое крашеное железо пушки … и **пушкин** щит со щелью у ствола для наводки (Э. Лимонов. …У нас была великая эпоха).

Время прайм-тайм отдано Петросяну, и от этого оторопь берет. Когда мы опускаем зрителя в криминал, или в **петросячье** ТВ, то имеем то, что имеем (Московские новости. 2007. № 15; *петросячий* – от фамилии юмориста *Петросян*, но с явным намеком на *поросячий*).

Очевидно, что в приведенных примерах нарушены какие-то изначальные лексические ограничения, и говорящий делает это сознательно. В статье Т. В. Шмелевой (2008) на данную тему приводятся многочисленные примеры «реанимации» словообразовательной модели притяжательных прилагательных, и, что любопытно, это происходит в прагматически наиболее «чувствительных» сферах – в торговой рекламе, публицистике. Автор делает вывод о том, что в речевую практику возвращается то, что в свое время тщательно изгонялось. Во времена Виноградова «вряд ли можно было себе представить, насколько свободными и изобретательными будут журналисты в XXI веке, как они научатся работать с прецедентными текстами и воспринимать свой текст в режиме интертекстуальности – постоянной переклички со множеством других текстов».

Можно также утверждать, что словообразовательная модель, в «спящем» виде представленная в системе языка, способна в определенной социолингвистической ситуации активизироваться, раскрепоститься – и ее притягательность, популярность будет прямо пропорциональна степени ее предыдущей «угнетенности».

Что касается **словоизменения прилагательных**, то здесь у говорящего мало выбора. По выражению О. Есперсена, прилагательные вообще более «ортодоксальны» в своем склонении (по сравнению с существительными): тут меньше вариантов и меньше исключений. Тем не менее определенные случаи такого рода встречаются и здесь. В частности, как известно, в русском языке прилагательные, сочетающиеся с существительными женского рода, в творительном падеже получают окончание *-ой*, но как вариант может быть и *-ою*. В XIX веке формы на *-ою* были вполне естественны. Вот как описывал И. А. Гончаров одного из своих университетских преподавателей:

Это был значительно потертый и поношенный француз старого пошиба, ... **с округленною, напыщенною фразою**, и прямой, как палка (Воспоминания).

Сегодня же форма на *-ою* (если она не вызвана ритмическими условиями поэтического текста) воспринимается как явный архаизм, как стилизация «под старину» или признак сугубой интеллигентскости. Эти оттенки, несомненно, лежат в плоскости прагматики.

Еще интереснее ситуация в белорусском языке, в котором прилагательные, определяющие существительные женского рода, имеют вариантные окончания не только в творительном падеже (*вялікай – вялікаю,*

сіняй – сіняю, маладой – маладою), но и в родительном (*вялікай – вялікае, сіняй – сіняе, маладой – маладое*). Односложные формы на *-ай, -яй, -ой* (и в том, и в другом падеже) несомненно побеждают, но двусложные, «уходя», принимают на себя груз дополнительных смысловых оттенков. Это может быть и архаизация, и отталкивание от нормы близкородственного русского языка. Б. Тарашкевич приводил в своей «Белорусской грамматике для школ» (1918) такие образцы склонения: *Цякла крынічка халодн****ае*** *чыст****ае*** *вады. З поўначы цемн****ае****, з сіверу дальняга нудная восень прышла.* У некоторых белорусских писателей XX века, по подсчетам М. Г. Булахова, формы родительного падежа на *-ае, -яе, -ое* и творительного на *-аю, -яю, -ою* достигают почти половины употреблений.

Добавлю, что наряду с формами сравнительной степени на *-эйшы* (*даражэйшы, маладзейшы, ярчэйшы*) в белорусском встречаются варианты на *-эй (-ай)*: *даражэй, маладзей, ярчэй*. Они свойственны разговорному стилю речи, откуда проникают и в художественную литературу, ср.:

Дзядзька Марцін выглядае **маладзей** за свае гады (Я. Колас. На ростанях).

Имя прилагательное как инструмент идеологии. Говоря о сочетании в семантике прилагательных денотативного и оценочного компонентов, следует иметь в виду, что есть адъективы, в которых первая составляющая забивается, подавляется второй. Сравним, с одной стороны, такие слова, как *настоящий, стабильный, родной, солидный, надежный, классический, фирменный* и т. п., а с другой – *сомнительный, подозрительный, шаткий, неоднозначный, предательский, мелочный, грязный* и т. п.: знак «+» или «–» заложен уже в самой их лексической семантике. А следующий пример демонстрирует процесс выбора определения при изначально заданном отрицательном отношении к творчеству писателя:

– Реакционер он, конечно, **закоренелый**?
– Еще бы!
– И ничего **более оголтелого** нет?
– Нет ничего **более оголтелого**.
– **Более махрового, более одиозного** – тоже нет?
– **Махровее и одиознее** некуда.
– Прелесть какая. Мракобес?
– «От мозга до костей», – как говорят девочки (В. Ерофеев. Василий Розанов глазами эксцентрика).

Прилагательное оказывается очень важным жанрово-стилистическим показателем текста. Известно: женщины употребляют прилагательных больше, чем мужчины. Огромна роль прилагательного в рекламных текстах (вспомним примеры вроде: *европейское качество по доступным ценам; лучшие предложения сезона; грандиозная распродажа; максималь-*

ные скидки; новейшие разработки; квалифицированная помощь; райское блаженство и т. п.). Как пишет польский исследователь Ежи Бральчик (J. Bralczyk, 2004), «основная часть речи в хвалебном жанре под названием рекламный текст – это прилагательное; основная категория здесь – степени сравнения; основной ее представитель – форма превосходной степени».

Особо следует упомянуть функцию прилагательных в текстах, представляющих тоталитарные и авторитарные режимы. Лексическое значение адъективов здесь обесценивается, опустошается, слова становятся своего рода «украшающими эпитетами», декоративными признаками административно-партийного новояза.

Об этом с горечью писал российский писатель Сергей Залыгин: «Истинный смысл слов в значительной мере утерян нашим обществом благодаря социальной системе, в которой пребывало несколько поколений советских людей. […]

На первом плане оказались не существительные, а прилагательные к ним: экономика у нас социалистическая, труд – ударный, народы – советские, государственные деятели – выдающиеся и великие и т. д. […]

Вся наша мыслительная деятельность, таким образом, искажена, переключена с существа дела, с существительных на прилагательные».

Не ушли эти общественные явления и от внимания лингвистов. Прилагательное в таком случае рассматривается как элемент дискурса, в контексте конкретной культурной среды и с учетом тех целей, которые преследует говорящий. Социальный фактор вмешивается в развитие значения, казалось бы, самых обычных слов. Так, прилагательные *животворный, пламенный, судьбоносный, братский, простой, неоднозначный, известный* и другие в определенных контекстах идеологизировались с образованием устойчивых словосочетаний, ср.: *животворная сила, пламенный привет, судьбоносные решения, братские партии, простой человек* и т. п.

«Функция эпитета в данном случае – создать текст, в котором оценочное значение преобладает над денотативным. […] Эпитеты такого рода становятся признаками определенного функционально-речевого стиля, определенного вида дискурса. […] Поэтому они приобретают еще одну функцию, связанную с прагматикой текста, – для многих адресатов они становятся маркерами ложности высказывания» (Л. Найдич, 1995).

Развитие значения прилагательных определяется наличием все тех же составляющих в их семантике: денотативной и оценочной. Причем в ходе этого процесса соотношение двух компонентов может меняться. Так, в значении слова *ленивый* изначально присутствует сильная оценочная коннотация: *ленивый* это «плохо». А в переносных употреблениях этого сло-

ва (свойство человека переносится на свойство предмета) оценочный компонент приглушается, угасает. *Ленивые голубцы* это ‘голубцы, приготовленные более быстрым, чем положено, способом’. *Ленивый кроссворд* – это ‘кроссворд, к которому тут же даются ответы’ и т. д. Наоборот, у слова *крутой* первичное значение отражает объективную данность: ‘обрывистый, резко меняющий направление’. А постепенно у него нарастают оценочные и экспрессивные оттенки, выражающие отношение говорящего к объекту речи, ср.: *крутой нрав, крутой парень* и т. п.

Развитие переносных значений отражается в изменении сочетаемости слова. Так, развитие у прилагательного *правильный* в разговорной речи значения ‘хороший, надежный, высокого качества’ привело в последнее время к появлению сочетаний *правильный ресторан, правильное пиво, правильные джинсы* и т. п. Естественно, что подобные сдвиги в семантике и сочетаемости в каждом языке подчиняются своим закономерностям. Скажем, русское слово *острый* развивает в себе значения ‘жгучий, пряный’ (*острое блюдо*), ‘очень сильный’ (*острая боль*) и др. А его эквивалент в чешском языке прилагательное ostrý имеет другой набор переносных значений, что находит свое выражение в словосочетаниях типа ostré tempo ‘быстрый темп’, ostrý soudce ‘строгий судья’, ostrý alkohol ‘крепкий алкоголь’, ostré stoupání ‘крутой подъем’, ostrý náboj ‘боевой патрон’ и т. д. Соответственно могут различаться и стилистическая окраска, и в целом прагматический диапазон двух слов.

ЛЕКЦИЯ 9

СИНТАКСИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ПОД УГЛОМ ЗРЕНИЯ ЛИНГВОПРАГМАТИКИ

Среди синтаксических конструкций есть такие, которые особенно чувствительны и продуктивны в прагматическом аспекте. Это значит – использование их предполагает выражение говорящим его отношения к собеседнику и к предмету речи. Систематизировать данные конструкции можно по разным признакам. В частности, можно в этой классификации опереться на определенные лексико-семантические разряды слов – такие как названия человека, элементов личной сферы говорящего, отвлеченных сущностей и т. п. По словам Галины Александровны Золотовой, «разные группы существительных по-разному проявляют себя в синтаксисе, и это зависит прежде всего от их значения». Можно попытаться исходить из номенклатуры предикатов и актантов – участников глагольных «сценариев». Но мы выберем в качестве опорных точек классификации некоторые характерные, конститутивные морфологические единицы: инфинитив, отглагольные существительные, определенные падежные формы и др.

Начнем **с конструкций с инфинитивом**, или неопределенной формой глагола. При этом я буду говорить здесь только об инфинитивных предложениях, т. е. о таких построениях, в которых неопределенная форма глагола играет роль главного члена предложения (отдельная проблема – синтаксические связи зависимого инфинитива, но их я не буду касаться). Они насыщены модальными значениями и прямо участвуют в регулировании отношений между говорящим и слушающим.

Инфинитив – важная в прагматическом отношении глагольная форма хотя бы потому, что он способен выражать приказание и в этой сфере конкурирует с формами повелительного наклонения. Нередко императив и инфинитив употребляются в данных целях параллельно, ср.:

Почему шлюпка опущена? **Поднять** немедленно! **Закрепить** ванты! **Убрать** сходни! **Ставь** паруса! (А. Грин. Капитан Дюк).

Спи, мальчишка, **не реветь** –
По садам идет медведь…

(*Б. Корнилов.* Как от меда у медведя
зубы начали болеть)

Но кроме значения, близкого к императивному, неопределенная форма глагола участвует в выражении и других интенций, в том числе алетической модальности («возможно – невозможно»), деонтической («должно иметь место» – «запрещено») и др. И не всегда легко определить, что именно имеет в виду говорящий. Рассмотрим пример.

Это было точно непонятно. Если бы пропала пуговица, серебряная ложка, часы или что-нибудь подобное; но **пропасть**, и **кому же пропасть**? и притом еще на собственной квартире!.. (Н. В. Гоголь. Нос).

Речь здесь идет о носе, пропавшем с лица чиновника. Ранее неоднократно так и говорилось: «нос пропал». Но тут мы читаем: «пропасть кому?» – «носу». Это значит: ‘с какой стати носу пропасть?’ Или: ‘надо же было носу пропасть!’ Или: ‘как можно было носу пропасть!’… Какой смысловой оттенок выбрать – зависит от читателя. Аналогичную языковую картину мы наблюдаем и в следующих цитатах, которые я приведу уже без комментария.

Листьям последним **шуршать**!
Мыслям последним **томиться**!..

(*А. Ахматова.* Обман)

Зарекаться, конечно, не надо, да я и не зарекаюсь, но по тому, как жизнь идет, – крупных произведений **мне** уже **не сочинять**. А **читателю – не читать** (С. Волков. Разговоры с Иосифом Бродским).

Но были пока делишки и в Москве. Эту яблоню еще **трясти и трясти** (Б. Акунин. Пиковый валет).

Что объединяет все эти речевые ситуации? Очевидно, устранение с помощью инфинитива грамматического субъекта. Согласно точке зрения говорящего, тут действует некая неназванная сила (в том числе, возможно, провидение или просто случай). О подобных явлениях уже упоминалось в лекции, посвященной глагольным категориям. Анна Вежбицкая, комментируя рост количества безличных предложений в русском языке, видит в этом проявление глубинной иррациональности и фатализма: «Язык отражает и всячески поощряет преобладающую в русской культурной традиции тенденцию рассматривать мир как совокупность событий,

не поддающихся ни человеческому контролю, ни человеческому разумению…» Думается, что такой уж прямой связи бессубъектных конструкций с особенностями русского национального характера нет, но важная роль этой языковой техники в выражении мысли несомненна.

Говорящий, используя неопределенную форму глагола, может намеренно играть, балансировать на ее неопределеннозначности (термин В. В. Мартынова). Вот в сборнике пословиц разных стран мира приводится такая: *Голодному волку – кухню стеречь*. Что здесь имеется в виду: ‘только и делать, что’? ‘нельзя’? ‘глупо’? ‘приходится’? ‘доверили’? Если бы мы уверенно подставляли на место тире (и паузы в устной речи) какое-то слово, про эту фразу можно было бы сказать: неполное предложение. Но именно инфинитив с его широким семантическим диапазоном не требует такого восполнения: он позволяет вкладывать в пословицу одновременно **разное** содержание.

В других славянских языках есть свои тонкости в использовании инфинитива. Так, в польском, чешском, словацком нет точных аналогов русским конструкциям с отрицанием типа *Нам этого не сделать, Врагу не победить*, в которых «содержится оттенок объективной невозможности реализации действия и убежденности говорящего в этой невозможности» (T. Wójcik, 1977). И вообще неопределенная форма глагола употребляется в этих языках реже, чем в русском. Зато, в частности, в польском инфинитив принимает на себя значения возможности, сильного удивления, восхищения, по диалектам также вежливого приглашения или просьбы и т. п. – это надо иметь в виду при переводе на русский язык. Несколько примеров:

Dyrektor teatru:
– **Wchodzić**, panowie, już się zaczyna… (K. I. Gałczyński. Kolczyki Izoldy; перевод: ‘Директор театра: «Входите, господа, уже начинается…»’).

– Pewnie z birbantki? **Powinszować** panu zdrowia (T. Konwicki. Czytadło; перевод: ‘Видно, с гулянки? Можно позавидовать вашему здоровью’).

Po wylądowaniu **kupić** plan Paryża (K. Brandys. Po prostu miłość; перевод: ‘Как приземлюсь, надо будет купить план Парижа’).

Ach, **znać** prywatny adres Pana Boga (S. J. Lec. Myśli nieuczesane; перевод: ‘Ах, если бы знать домашний адрес господа Бога!’).

Польская исследовательница Халина Конэчна (H. Koneczna, 1971), изучив инфинитивные конструкции типа Tę kawę **czuć** spalenizną ‘Это кофе отдает паленым’, Przynajmniej ręce **umyć** ‘Хотя бы руки вымыть’ и т. п., пришла к выводу, что в целом они обладают неограниченным диа-

пазоном модальности: «от приказа до просьбы или указания, от необходимости, обязательности до возможности и неуверенности». И хотя этот набор значений, как мы видим, несколько отличается от того, что мы наблюдали в русском языке, думается, что ситуация с «неопределеннозначностью» инфинитива и здесь имеет место.

Теперь обратимся **к конструкции с отглагольными именами существительными,** следующей прагматически «чувствительной» формой. В научной литературе не раз отмечалась роль отглагольных существительных (девербативов) как средства номинализации фразы; указывалось также, что использование их, в конечном счете, служит семантическому усложнению предложения и «интеллектуализации» текста (Н. Д. Арутюнова, М. Ю. Федосюк и др.). На практике это означает, что отглагольное существительное позволяет в рамках простого предложения выразить более чем одну пропозицию. Что, например, значит фраза *После его отъезда культурная жизнь в городе замерла*? Это значит: ‘Он уехал’ + ‘Культурная жизнь в городе замерла’. Или: ‘После того, как он уехал, культурная жизнь в городе замерла’.

Таковы синтаксические предпосылки употребления отглагольных существительных. Но словообразование вносит в этот процесс свои коррективы. Дело в том, что в русском языке девербативы образуются с недостаточной регулярностью. Ни самая активная модель – с формантом *-ние*, ни ее менее продуктивные конкуренты с формантами *-ба, -ка, -еж* и т. д. не покрывают всего объема производящих глагольных основ. Бывают случаи, когда необходимость отглагольного существительного ощущается говорящим (скажем, от глагола *выгонять – выгоняние*, от *находиться – нахождение*, от *избегать – избегание*, от *вылезать – вылезание* и т. п.), но образовать такой окказионализм позволительно только в определенных речевых условиях. Примеры из литературы:

Но Остап ничуть не смутился. Он снял фуражку с белым верхом и на приветствия отвечал гордым **наклонением** головы то вправо, то влево (И. Ильф, Е. Петров. Золотой теленок).

В одиннадцатом часу вечера народ разошелся по своим комнатам, и квартира угомонилась. Еще некоторое время из-за дверей доносилось **бубнение** телевизоров, но затем окончилось и оно (В. Пьецух. Новая московская философия).

Именно окказиональный характер многих отглагольных существительных обусловливает в русском языке прагматический аспект их употребления. Речевая раскованность говорящего предполагает определенный модус его отношений с собеседником. Но есть, кроме того, и второй аспект: он связан со стилистической маркированностью даже тех девер-

бативов, которые «узаконены», кодифицированы языковой нормой. Дело в том, что отглагольные существительные очень активно употребляются в официально-деловой речи, и употребление их за пределами данного стиля содержит в себе некоторый намек, как бы отсылку к казенному документу. Ср. примеры:

Комендант несомненно утонет, сказал я. ... Кроме того, напомнил я, в случае **утонутия** коменданта задача все равно останется невыполненной... (А. Стругацкий, Б. Стругацкий. Сказка о Тройке).

К утру всех ожидающих самолет ... загнали в какой-то отсек, откуда после проверки билетов и **просвечивания** на предмет **пронесения** оружия вывели из здания аэропорта... (Ф. Искандер. Сандро из Чегема).

...Фабрику придется закрыть. Помещение в угрожающем состоянии по случаю **прогнития** балок (М. Азов, Вл. Тихвинский. Плоский купол).

Совмещение в одной форме столь разных прагматических оттенков – разговорно-окказионального, с одной стороны, и канцелярского, с другой, вполне укладывается в творческий арсенал языковой игры.

Но надо сказать, что в других славянских языках – польском, чешском, болгарском и др. – отглагольные существительные характеризуются значительно большей регулярностью образования (по сравнению с русским языком). Эта регулярность столь высока, что некоторые ученые включают девербативы в глагольную парадигму (т. е. считают их фактом словоизменения). В частности, отглагольные существительные в польском языке выделяются не только регулярностью своего образования и частотой употребления. Их особо тесная связь с глаголом проявляется в том, что они сохраняют такую исконно глагольную черту, как возвратность (например, от myć się ‘мыться’ образуется возвратный девербатив mycie się, от zbliżać się ‘сближаться’ – zbliżanie się и т. п.). Сохраняют они и вид производящего глагола, в значительной мере также и его переходность (валентность). А в сочетании с предлогами они участвуют в передаче разнообразных модальных оттенков. Например, с помощью конструкций типа Ten problem nie do rozwiązania ‘Эту проблему невозможно решить’, Mięso nie do jedzenia ‘Это мясо нельзя есть’ и т. п. слушающему посылается отчетливый «запретительный» сигнал.

Любопытно, что при общей прагматической нагрузке инфинитива и отглагольных существительных набор их «подфункций» и лексическая база в различных славянских языках различна. Это можно объяснить тем, что функционально-семантическое поле модальности в каждом языке включает в себя разные языковые формы, каждая из которых принимает на себя определенную часть коммуникативной нагрузки и вступает в си-

стемные отношения с иными средствами, служащими для выражения той же или смежных функций. Между ними происходит своего рода распределение прагматического пространства, подобное тому, какое имеет место между семантикой лексических единиц.

Одной из таких конструкций модального характера является в славянских языках сочетание глагола со значением ‘иметь’ с полнозначным глаголом. Соответствующие конструкции распространены в польском, чешском, болгарском, македонском и других языках. Приведу только два примера – на болгарском и польском – с переводом их на русский.

Цял ден съм тичал из града, а утре **имам да ходя** на четиридесет и седем адреса (И. Петров. Лъжливи хора; перевод: ‘Весь день я бегал по городу, а завтра мне предстоит обойти еще сорок семь адресов’).

– **Miałaś jechać** do Warszawy.
– **Miałam** i jadę. Oczywiście o ile się nie spóźnie przez głupie rozmowy telefoniczne (S. Dygat. Disneyland; перевод: «Ты собиралась ехать в Варшаву». – «Собиралась и поеду. Если только не опоздаю из-за дурацких телефонных разговоров»).

Конструкции с *имам*, mieć, mít и т. п. передают широкий спектр модальных значений, но одновременно они также указывают на неофициальный, разговорный стиль речи; это необходимо учитывать при переводе.

Выражение **каузативных отношений** через окказиональную переходность глагола. Каузатив – семантически усложненный предикат, включающий в себя сему ‘заставлять’ или ‘делать так, чтобы’. Например: *кормить* – ‘делать так, чтобы кто-то ел’; *будить* – ‘делать так, чтобы кто-то просыпался’. Осознание каузативных отношений способствует развитию сложной мысли, формированию «многоуровневых» пропозиций с несколькими предикатами. Каузативность позволяет увидеть в действии или состоянии результат другого действия; тем самым она представляет языковой факт как элемент языковой системы. Такие естественные и первичные для языкового сознания феномены, как «спать», «умирать», «смотреть», «смеяться», оказывается, могут происходить не сами по себе, а быть вызванными усилиями кого-то другого, ср.: *убаюкивать* – ‘заставлять спать’, *убивать* – ‘заставлять умирать’, *показывать* – ‘заставлять смотреть’, *веселить* – ‘заставлять смеяться’ и т. п.

В некоторых языках каузативные отношения составляют основу особого побудительного залога. Но славянским языкам морфологическое выражение каузативных отношений несвойственно. Тут они выражаются с помощью разных, не всегда строгих, средств. Однако сами эти отношения для языкового сознания довольно важны, и два средства можно считать все-таки достаточно регулярными. Первое из них – это «усечение» возвратной морфемы у возвратного глагола. Иными словами, ситуация

«гнуться» изображается как производная от ситуации «гнуть», «обижаться» – от «обижать», «учиться» – от «учить» и т. п. Литературные примеры:

– Неплохо, неплохо... – прозвучал его глуховатый голос. – Но **остановился ты**, как я вижу, на самом интересном месте.

– **Не я остановился, а меня остановили**! (А. Стругацкий, Б. Стругацкий. За миллиард лет до конца света).

Галина Петровна. Так это я устранилась? Мне-то казалось, что это **ты устранился** от всего, что касается семьи.

Мокин. Вернее было бы сказать, что **ты меня устранила** (А. Володин. Графоман).

Ирина обняла себя руками крест-накрест и стала **качаться**. **Горе качало ее** из стороны в сторону (В. Токарева. Груда камней голубых).

По этому образцу выстраивают свои отношения и другие глаголы. Иллюстрации:

Пытаясь оживить повествование, автор **влюбляет** в Катю молодого шофера туристского автобуса... (Н. Ильина. Катя за границей; *влюбляет* значит ‘заставляет влюбиться’).

А ведь научить человека выражаться грамотно почти невозможно. Еще иностранца **насобачить** полбеды, он зубрежкой возьмет (Л. Петрушевская. Находка; *насобачить* явно производно от *насобачиться*).

Нам нужно новое оборудование для аудиторий. **Защищаем** сына Петрова – и имеем столы, стулья и доски (Д. Донцова. 13 несчастий Геракла; здесь *защищаем сына Петрова* – ‘делаем так, что сын Петрова защищается’).

Понятно, что в каких-то случаях перед нами явно окказиональное словообразование (*насобачить*), а в каких-то – перестройка семантических отношений слова с другими словами (*защищать*).

Второе средство «регуляризации» каузативных отношений – это придание глаголу прямого дополнения (*катить – катить тележку, бунтовать – бунтовать народ, варьировать – варьировать показатели*). И здесь список пар, состоящих из каузативного и «декаузативного» глаголов, расширяется. Фактически речь идет об окказиональном «оперехоживании» глаголов (или, говоря научным языком, об их транзитивации). В следующих примерах из художественной литературы непереходные глаголы *загорать, трепетать, лопнуть* употреблены как каузативные: ‘делать так, чтобы что-то загорало’, ‘...чтобы что-то трепетало’, ‘...чтобы что-то лопнуло’.

...Эдик Амперян спрашивал, Роман Ойра-Ойра отвечал; а я, не теряя драгоценного времени, **загорал** себе **подмышки** (А. Стругацкий, Б. Стругацкий. Сказка о Тройке).

…По берегу реки шел Бураго, инженер, **носки** его **трепетал** ветер (С. Соколов. Школа для дураков).

Дочь с видом настоящей кретинки выдула огромный пузырь, **лопнула его** и, соскребая липкие лохмотья со щек, занудила… (Д. Донцова. Дама с коготками).

Конечно, указанные тенденции проявляются преимущественно в разговорной речи, но в условиях расшатывания и демократизации нормы (что мы наблюдаем в современном русском языке) степень окказиональности подобных образований различна. В середине XX века выражение *Не он ушел, а его ушли* казалось весьма смелым, метафорическим. Сегодня, слыша фразу *Соседка поступила дочь в училище*, мы, возможно, даже не обратим внимания на ее неправильность. Тем не менее прагматический аспект в этих новообразованиях немаловажен.

Далее, в славянских языках существует ряд прагматически окрашенных конструкций, включающих в себя определенные **падежные формы**. Рассмотрим некоторые из таких форм. При этом я постараюсь не повторять того, что уже говорилось о прагматике падежей в лекции про имя существительное.

Форма **дательного падежа (датива)** имени активно используется для очерчивания личной сферы говорящего (о которой уже шла речь в предыдущих лекциях). Может быть, наиболее явный прагматический эффект сопровождает употребление личных местоимений в контекстах типа *Я* ***тебе*** *побезобразничаю на уроках!* или *Ты* ***мне*** *там смотри!*. Датив здесь участвует в выражении приказа, запрета, даже угрозы. Литературная иллюстрация:

Он подмигнул сторожу.

– Ты чего мигаешь? – озлился сторож. – Ты **мне** не смей мигать. Я **тебе** так помигаю… (Н. Тэффи. Игра).

Адресат должен немедленно подчиниться такому приказанию/запрету, в противном случае конфликт неизбежен.

В русском языке форма датива употребляется в предложениях, в которых говорится о психическом или физическом состоянии человека, о функционировании частей тела, об установлении родственных или притяжательных отношений и т. д. Отступление от этих ограничений наверняка будет воспринято как риторический прием, направленный на регулирование отношений со слушающим.

У Чехова есть рассказ «Припадок», в нем студент Васильев с приятелями отправляется в район, в котором расположены публичные дома. Впечатления от этой прогулки у студента самые ужасные. «И **как может снег падать** в этот переулок! – думал Васильев. – Будь прокляты эти

дома!» Но интересно, что писатель Юрий Домбровский, цитируя по памяти эту фразу в своих «Записках мелкого хулигана», приводит ее в таком виде: «И **как не стыдно снегу падать** в этот переулок!» – и это уже явное нарушение правил сочетаемости: явлению природы – снегу – придаются свойства живого существа. Подобные примеры анимизации предмета довольно часты в художественной литературе. Приведу только несколько контекстов с дательным падежом, обозначающим субъект состояния.

Вероятно, **куску железа** так же **радостно покориться** неизбежному, точному закону – и впиться в магнит (Е. Замятин. Мы).

– **Пище вариться некогда**, – сказал Шумилин. – Пора уже на партсобрание идти… (А. Платонов. Чевенгур).

– Разве так плавают? Как полено…
– Ну нет, – после некоторого раздумья отвечает Тимофей, – **полену лучше**, оно легче (Н. Дубов. Огни на реке).

Выражение дательным падежом функции **посессора** (обладателя) по отношению к элементам личной сферы человека (прежде всего неотчуждаемым) наиболее очевидно в ситуации, когда часть тела или иная составляющая личной сферы подвергается физическому воздействию. По-русски можно сказать:

Мне *в автобусе наступили на ногу* (т. е. ‘на мою ногу’).
Маша нечаянно поцарапала ***Пете*** *щеку* (т. е. ‘Петину щеку’).
Собака порвала ***соседу*** *брюки* (т. е. ‘брюки соседа’).

Именно на фоне этой нормы воспринимаются как отклонения те случаи, когда в роли посессора выступает неживая субстанция или же в качестве элемента личной сферы – случайный предмет. В этом смысле плохо выглядит по-русски не только фраза *Я поцарапал* ***чемодану крышку*** (где нарушено правило одушевленности посессора), но и фраза *Я поцарапал* ***Маше чемодан*** (где нарушено правило неотъемлемой принадлежности объекта); по крайней мере стилистически обе они небезупречны. Тем не менее в художественных текстах подобные конструкции иногда встречаются, ср.:

Вчера я поймал их за тем, что они лежали на полу и **выкалывали глаза** семейным **фотографиям** (В. Кин. По ту сторону).

Жена как раз из магазина возвращалась. **Ей** еще **кефир прострелили**. Но ты только не плачь, тетя (М. Задорнов. Все нормально, тетя!).

Вросший ноготь **подкладку прорвал сапогу** (А. Вознесенский. Похороны Гоголя Николая Васильича).

Из-за этих газовых плит у нас во дворе всегда пахло кухней. Когда мы **открывали им духовки**, дверки духовок, они ужасно скрипели. А зачем мы открывали дверки, зачем? (С. Соколов. Школа для дураков).

Как можно объяснить эти шероховатости? С одной стороны, границы личной сферы субъекта характеризуются нечеткостью, размытостью (в частности, одежда или какие-то дорогие субъекту аксессуары могут вводиться в этот круг), а с другой стороны, в роли посессора, благодаря метонимическим или метафорическим переносам, может выступать и неживой предмет. Поэтому ограничения здесь довольно тонкие. Фраза *Я сломал Маше велосипед* – нормальная: велосипед – важная часть личной сферы человека. Но *Я сломал Маше карандаш* уже выглядит неестественно: карандаш – малоценный и случайный признак Маши. Правильнее сказать: «Я сломал Машин карандаш». Получается, что дательный падеж помогает установить перечень мыслительных категорий.

И все же вряд ли можно спорить с тем, что по крайней мере некоторые из приведенных выше примеров (*Ей кефир прострелили, Мы открывали плитам духовки* и т. п.) содержат дополнительную экспрессию, элемент игры с языком и заведомо рассчитаны на определенный эстетический эффект. Еще одно маленькое подтверждение этой мысли и развитие темы – шутливый афоризм *Бесплатному сыру в дырки не заглядывают*, построенный но аналогии с пословицей *Даренному коню в зубы не смотрят*…

Конечно, приведенные примеры ценны тем, что демонстрируют внутреннюю связь синтаксиса и морфологии. Однако пренебрежение лексическими условиями заполнения синтаксических позиций приводит, как мы видим, к образованию неотмеченных, неправильных высказываний! Мы получаем то, что Лев Владимирович Щерба называл «отрицательным языковым материалом». Речевые факты, сопровождаемые пометой «так не говорят», по словам ученого, «указывают или на неверность постулированного правила, или на необходимость каких-то его ограничений…».

Покажем это на примере еще одной конструкции, образуемой с участием формы дательного падежа. Речь идет о выражении **отношений между людьми**. На вопрос «Вы ему кто?» самые естественные в русском языке ответы – это названия степени родства: *отец, брат, сестра, сын, племянница, седьмая вода на киселе* и т. п.: *Семен мне племянник; Маша Петру дальняя родственница.* Литературный пример:

– А что, отец, – спросил молодой человек, затянувшись, – невесты у вас в городе есть?

Старик-дворник ничуть не удивился.

– **Кому** и **кобыла невеста**, – ответил он, охотно ввязываясь в разговор (И. Ильф, Е. Петров. Двенадцать стульев).

Менее естественны, но все же допустимы в данной речевой ситуации слова, обозначающие не родство, но ту или иную степень **духовной близости**: *друг, товарищ, помощник, учитель, нянька, ровесник*… Ср. многочисленные русские паремии типа *Гусь свинье не товарищ; Сытый голодному не товарищ; Жена-красавица слепому радость; Деверь невестке обычный друг;* и даже известное *Человек человеку волк* можно рассматривать в этом ряду.

Еще менее допустимы названия служебных отношений по вертикали, вроде *начальник* или *подчиненный*: подобные контексты уже несут на себе печать некоторого языкового своеволия, ср.:

– А что о нем говорить? – спокойно сказала она наконец.
– Вы давно его видели?
– Вам какое дело? Вы ему кто?
– Я **ему начальник**.
– Это он вас, что ли, охраняет? (А. Маринина. Иллюзия греха).

Ваш работник инженер Маркычев задержан за переход государственной границы в буржуазном государстве. Позвольте, говорит директор, **Маркычев мне не инженер**. У нас такой не работает (М. Веллер. Легенды Невского проспекта).

Получается, что с помощью конструкции с дательным падежом человеческие отношения ранжируются по степени близости. О соседе или однокласснике мы сегодня скажем скорее «Я его сосед» или «Я его одноклассник», чем «Я ему сосед» или «Я ему одноклассник» (хотя, заметим, еще у А. С. Пушкина было: «Ты ей знаком?» – «Я им сосед»). Любопытно, что при наличии отрицания лексические требования к этой составляющей несколько смягчаются, ср. допустимое *Петя Мише не враг* (*не сторож, не советчик, не хозяин* и т. п.) при маловероятном ?*Петя Мише враг* (*сторож, советчик, хозяин* и т. п.). Но уж совершенно невозможными представляются фразы вроде *Иванов складу сторож* или *Лейтенант роте командир*. Падежные сочетания, по словам Михаила Викторовича Панова, могут быть диагностическим средством, позволяющим узнать, как в языке представлены различные называемые объекты.

Представим себе ситуацию милицейского, врачебного и тому подобного опроса, весьма типичную для современной литературы.

– Еще через пять минут врач обратился к Кивинову:
– **Вы ей кто?**
– Да **никто**. Из милиции мы (А. Кивинов. Менты).

– А что случилось-то?
– А **вы ей кто**?
– **Я ей никто**. Получила письмо с просьбой о помощи. Вот и звоню вам (Т. Толстая. Ужин для пятого корпуса).

Как следует из приведенных цитат, на вопрос «Вы ему кто?» нельзя ответить по-русски: «Милиционер» или «Корреспондент» (надо сказать в этих ситуациях: «Никто»). Если же говорящий нарушит заданные лексические условия, заполнит синтаксическую позицию «не той» лексикой, это автоматически приведет к семантическому усложнению, метафоризации всего высказывания.

Конструкции **с родительным падежом (генитивом)** приобретают прагматические оттенки, например, тогда, когда генитивные формы «нанизываются» друг на друга, образуя цепочки. За пределами канцелярского стиля такие цепочки запрещены, но, как говорится, «если нельзя, но очень хочется, то можно». И в следующем отрывке из пародии Никиты Богословского на критический отзыв эта языковая особенность обыгрывается с максимальной полнотой.

> В который раз уже приходится писать о так называемом «творчестве» тов. В., много лет потакающего отсталым вкусам немногочисленных **кругов** некоторых невзыскательных **слоев** отдельной маленькой **части** небольшого **количества** музыкально неразвитой крошечной **доли** нашего **населения**.

Другое «противоправное» применение родительного падежа – это обозначение меры в применении к несчетным и неизмеряемым объектам. Значение синтаксической конструкции сталкивается с лексическим значением конкретного слова, ср. примеры:

> **Александра** было так много, что ему хотелось поделиться собой с друзьями (В. Токарева. Скажи мне что-нибудь на твоем языке).

> Мстительное нехорошее чувство росло в душе. Вам бы немного **Гулага**, чуть-чуть **блокады**. Выжили все-таки? Тогда еще порцию **Гулага**, уже послевоенного, проживание вдесятером в одной комнате (Т. Толстая. Культурный шок).

В одной из предыдущих лекций уже шла речь о том, что конструкции с зависимым существительным в родительном падеже с определением могут обозначать природное свойство – материал, размер, цвет: *рама (красного) дерева, фужер (богемского) стекла* и т. п. И там же говорилось о невозможности сочетаний типа **ложка нержавеющей стали* или **улица асфальтового покрытия*… Здесь, очевидно, вступают в действие правила прагматики. Как писала болгарская исследовательница Стефана Димитрова, «факты, вполне закономерные с точки зрения грамматических возможностей языка, оказываются невозможными с точки зрения здравого смысла, логики, психологических состояний, эмоциональных оценок и т. д.».

Прагматической ценностью обладает и **форма именительного падежа (номинатива).** Дело, во-первых, в том, что номинатив, как уже отме-

чалось, – вообще самый частый падеж (во всяком случае, в разговорной речи и в художественной литературе). И в рамках широкого диапазона его значений то и дело сталкиваются **различные смыслы**, высекая искру эстетического эффекта. Легче всего это показать на примерах языковой игры, зафиксированной в виде анекдотов и шуток. Один из собеседников употребляет конструкцию с именительным падежом в некотором значении «а», а другой приписывает ей смысл «б». Пример:

На экзамене. Профессор задает студенту один вопрос за другим. Тот упорно молчит. Тогда профессор, вздыхая, говорит:

– Ну ладно, скажите хоть, кто открыл Америку?

Студент пожимает плечами.

– **Колумб**! – раздраженно кричит профессор. – **Колумб**!

Студент встает и идет к выходу.

– Куда вы? – спрашивает профессор.

– А я думал, вы зовете следующего.

Для сопоставления – польский пример.

Bogato ubrana dama je czekoładę w operze, trzeszczy folią. Już zaczęła się uwertura i sąsiadka robi damie uwagę:

– Ciszej, **uwertura**!

– Od uwertury słyszę!

Перевод: «Богато одетая дама в опере ест шоколадку, шелестит фольгой. Начинается увертюра и соседка делает даме замечание: – Тише, увертюра! – От увертюры слышу!»

Во-вторых, определенные значения именительного падежа «привязаны» к конкретным синтаксическим позициям. В частности, для **существительных с оценочной семантикой** – *умница, молодец, молодчина, прелесть, дурак, болван, придурок, сволочь* и т. п. (отрицательных номинаций здесь, как известно, больше) – характерны в тексте особые позиции: роль предиката (сказуемого), а также обращения, заголовочного слова. Впервые это заметил академик Виктор Владимирович Виноградов в своей статье о типах лексического значения слова (1953). Он показал, что особые значения слов типа *петух* или *жилец* проявляются только тогда, когда они играют в предложении роль сказуемого, ср.: *Вот так петух!* или *Не жилец она не белом свете*.

В остальных же позициях оценочная лексика используется ограниченно. Не говорят: «Дурак живет в соседней квартире», «Умница всех обыграл в шахматы», «Фаталист получил письмо» и т. п. Если же это все же случается, то у адресата остается ощущение дополнительной семантической нагрузки, придаваемой оценочному слову, например, это может быть «взгляд со стороны», скрытая цитация и т. п. Примеры:

– Вась, а Вась, – говорит проходчик Смирнов своему соседу по комнате. – На работу пора, вставай, **черт чудной**!

Черт чудной только мычит с похмелья (В. Пьецух. Драгоценные черты).

– Бред какой-то! – пробормотала она растерянно, поймав свое бледное отражение в зеркальной двери шкафа. – Что за **дура** звонила, интересно?

Дура забыла представиться. Да и вообще вела себя довольно-таки странно (Г. Романова. Обмани меня красиво).

В определенных условиях (в частности, в сочетании с местоимениями или в результате сложения пропозиций) такие «предикатные» по своей сути названия расширяют диапазон своего употребления. Они становятся способны к референции и к тому, чтобы выступать в формах других падежей, например:

– Живут же **паразиты**! Будто аристократы… А тут не знаешь, где пятерку занять, чтобы с кухаркою расплатиться.

Пропперы жили на Английской набережной, 62. **Паразитов** собралось столько, что их мяса и жира вполне хватило бы на целый год для работы мыловаренной фабрики (В. Пикуль. Честь имею; под *паразитов* имеется в виду: ‘этих паразитов’).

Да, самая большая неприятность, которая могла со мной приключиться, – это скандал с домработницей.

– Не расстраивайся, дорогая, – утешал Миша, – выгоним **нахалку**, другую наймем… (Д. Донцова. Маникюр для покойника); здесь *выгоним нахалку* означает: ‘Она – нахалка, выгоним ее’ и т. д.

Пример из другого славянского языка, на сей раз сербского:

Ја сам рекао: «Ја бих играо Хитлера, али немам бркове!» Мајка је рекла: «Сине, ти си сувише леп да би играо **тога скота**!» **Скота** е играо Мирослав из партера лево (Б. Ћосић. Зашто смо се борили). Перевод: ‘Я сказал: «Я бы сыграл Гитлера, но у меня нет усов!» Мама сказала: «Сынок, ты слишком красив, чтобы играть эту скотину!» Скотину играл Мирослав с первого этажа, левый подъезд’.

Во всех этих случаях употребление оценочной лексики за пределами привычной для нее предикатной позиции придает тексту дополнительную семантическую глубину и рассчитано на адресата, способного данный прием оценить.

Разумеется, в каждом славянском языке имеется свой набор синтаксических средств, наделенных прагматической окраской. Покажу это на одном фрагменте польской грамматики. Здесь двусоставные предложения с именным сказуемым, обозначающим квалификацию субъекта, строятся обычно с участием связочного слова – частицы to или глагола być: Wilk to drapieżnik, Wilk jest drapieżnikiem (оба примера переводятся как ‘Волк – хищник’; в первом случае – чистая квалификация, во втором – классификационный оттенок).

Но, кроме них, в польском языке есть еще две специфические модели без участия связочного слова. Одна передает дополнительную эмоциональную оценку: Kłamca i oszust z twojego kolegi ‘Твой коллега – врун и обманщик!’ (Г. Фонтаньский). А вторая используется только в качестве заголовков, слоганов, сентенций: Potrzeba matką wynalazków ‘Необходимость – мать изобретений’; Alkohol twoim wrogiem ‘Алкоголь – твой враг’, Puszcza Białowieska parkiem narodowym ‘Беловежская пуща – национальный парк’. Для всех этих примеров характерна, с одной стороны, коммуникативная самодостаточность (перед нами – законченный текст), а с другой стороны, скрытая модальность или фазисность (ср. возможные переводы типа ‘Алкоголь **должен быть** твоим врагом’ или ‘**Превратим** Беловежскую пущу в национальный парк’). Тем самым информация, содержащаяся в рематической части высказывания, подчеркивается, актуализируется или канонизируется.

Среди синтаксических средств, причастных к выражению прагматических значений, нельзя не отметить наличие особых структурных схем предложений. Речь идет о так называемых **фразеологизованных синтаксических конструкциях.**

В русской лингвистике, начиная с 50-х годов XX века, принято специально выделять предложения, лексическое заполнение которых в той или иной мере задано. «Лексические ограничения являются как бы своеобразным элементом формы такой конструкции наряду с лежащей в ее основе схемой соединения словесных элементов», – писала Н. Ю. Шведова. Кроме нее, фразеологизованные синтаксические конструкции изучали Д. Н. Шмелев, Г. А. Золотова и другие ученые. Объектом рассмотрения стали высказывания типа *Чем не жених?*; *Что бы поосторожней!*; *Что за характер!*; *То ли не жизнь!*; *Нет чтобы подождать!*; *До чего ловко!*; *Мало ли что болен!*; *Всем молодцам молодец*; *Без тебя праздник не в праздник*; *Взять хоть тебя*; *Что брату до меня!*; *Помочь – они мне не помогут*; *Гулять так гулять*; *Спать-то я спал, но…*; *Война есть война*; *Страх страхом, а…* и т. п. Начиная с 70-х годов подобные образцы приводятся и в самых солидных грамматиках русского языка. Причем перечень их расширяется; в последних исследованиях приводится уже около восьми десятков таких типов (М. В. Копотев). Конечно, синтаксическая модель не может быть полностью независима от лексических условий, и фразеологизованные схемы демонстрируют это наиболее ярко. Но нас в перечисленных выражениях интересует, во-первых, то, что они действительно заложены в сознании носителя языка в «полуготовом» виде, а во-вторых, то, что большинство из них несет с собой экспрессивную или

модально-оценочную коннотацию и, значит, имеет прямое отношение к прагматике. Приведу одну иллюстрацию.

– Я имею в виду заключенных. Ведь это страшные люди. Ничего святого…
– **Люди как люди**, – сказал Алиханов, откупоривая третью бутылку (С. Довлатов. Компромисс; здесь оценочный антитезис *люди как люди* 'обычные люди' возникает как противопоставление мнению собеседника: *страшные люди*).

«Сверхзадача», которая ставится перед фразеологизованными конструкциями, в конкретном случае может быть различна: выражение восхищения, сожаления, огорчения, досады и т. д. – но все эти эмоции направлены на адресата. Они либо требуют от собеседника согласия, участия, одобрения, либо, наоборот, провоцируют выявление разногласий, спор, конфликт.

Фразеологизованные синтаксические конструкции в значительной мере и создают то, что можно назвать синтаксической спецификой конкретного языка; они чрезвычайно важны как проявления национальной самобытности. Естественно, в каждом языке – свой набор таких моделей. В частности, для болгарского характерны оценочные (пейоративные) фразеологизованные конструкции с повтором имени. На русский язык их приходится переводить описательно: *свиня със свиня* 'свинья в высшей степени', *невежество с невежество* 'невежество из невежеств', *глупакът му с глупак* 'круглый дурак', *пенсията му с пенсия* 'пенсионер несчастный' и т. п. Один литературный пример:

Ами не разбираш ли ти, **невежество с невежество**, че щом искаш да задържиш красотата за себе си, то тази красота мигновено умира (Й. Радичков. Луда трева). Перевод: 'Ты что, не понимаешь, темный ты человек (или: тупица из тупиц), что как только захочешь присвоить красоту, так эта красота тут же погибнет?'

В этой лекции не хватило места для многих синтаксических приемов – таких как параллелизм, хиазм, эллипсис, не было также речи об особенностях строения сложного предложения и т. д. Следовало бы специально поговорить о роли вводных слов, меняющих модальность высказывания (*очевидно, возможно, видите ли, выходит, к сожалению* и т. п.). Но даже проделанный краткий обзор, при всей его фрагментарности, обнаруживает богатый арсенал синтаксических средств, которые использует говорящий для того, чтобы выразить свое отношение к собеседнику и к теме разговора. Мы видим, что в языке прагматика вполне уживается с грамматикой, образуя с нею довольно сложные формы взаимодействия.

Известный американский лингвист Чарльз Филлмор (Ch. Fillmore, 1996), специально изучавший данную проблематику, пришел к выводу, что при использовании языка «прагматические конвенции предшествуют

грамматическим. В соответствии с этим описание языковых средств не включает в себя, да и не должно включать, указания на прагматические цели». С этим тезисом можно согласиться лишь частично. Дело в том, что он отражает точку зрения говорящего, создающего текст (и, в частности, выбирающего грамматические средства) на основании собственного опыта – «прагматических конвенций». Что же касается деятельности слушающего, то ему нередко приходится поступать наоборот: исходя из доступных и общепринятых грамматических значений, представленных в тексте, моделировать специфический мир прагматических конвенций говорящего. Тем самым грамматика участвует в формировании прагматической конвенции носителя языка.

ЛЕКЦИЯ 10

СИНТАКСИЧЕСКИ НЕЧЛЕНИМЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ ПОД УГЛОМ ЗРЕНИЯ ЛИНГВОПРАГМАТИКИ

После фразеологизованных синтаксических конструкций очень удобно перейти к таким коммуникативным единицам, которые в синтаксическом отношении являются вообще нечленимыми. Их часто называют еще словами-предложениями. Имеются в виду высказывания, состоящие из одного или нескольких слов, не обладающие синтаксической структурой, но выполняющие важные прагматические функции. Примеры из русского языка: *Да; Конечно*; *Ай-яй!*; *Ну?*; *Еще чего!*; *Ни за что!*; *Вот-те раз!*; *Легко сказать*; *Цыц!*; *Так держать!*; *Ну и пусть!*; *Боже упаси*; *Черт его знает!* и т. п. «Эти выражения, – пишет В. Ю. Меликян, – не исключение из правил, связанное с нарушением норм и логики языка. Они являются развивающимся, продуктивным и нормативным явлением современной разговорной речи (нормы и логика у них особые, но они имеют место), типом синтаксического образования, занимающим свое место в системе структурных типов простого предложения». Нечленимое высказывание, как правило, выполняет «реактивную» функцию: это ответная реплика собеседника, характеризующаяся краткостью, экспрессией и способностью непосредственно влиять на ход диалога. Прагматический аспект такой реплики обязательно учитывает ситуацию общения, отношение говорящего к собеседнику и к содержанию сообщения. Разумеется, каждый славянский язык обладает своим набором подобных единиц.

В книге уже упомянутого В. Ю. Меликяна «Эмоционально-экспрессивные обороты живой речи» (2001) предлагается следующая классификация нечленимых высказываний (коммуникем, по терминологии автора):

1) реплики утверждения/отрицания: *А как же!*; *А то!*; *Еще бы!*; *Хорошо!*; *Ладно!*; *Как бы не так!*; *Никак нет* и т. п.;

2) эмоционально-оценочные реплики: *Вот это да!*; *Однако же!*; *Господи!*; *Здрасьте!*; *Классно!*; *Тьфу!* и т. п.;

3) волеизъявления, призывы и команды: *Давай!*; *Валяй!*; *Айда!*; *Ша!*; *Баста!* и т. п.;

4) контактоустанавливающие реплики: *Эй!*; *Алло!*; *Внимание!*; *Послушай!*; *Будьте любезны* и т. п.;

5) этикетные реплики: *Благодарю!*; *На здоровье!*; *Пардон!*; *Виноват!*; *Добрый день!*; *Пока!*; *Всего!* и т. п.;

6) вопросительные реплики: *Что?*; *Разве?*; *Неужели?*; *Да ну?*; *Ведь так?*; *С какой стати?* и т. п.;

7) текстообразующие реплики, которые выполняют композиционно-организующую роль: *Наконец; Итак; Вот; Всё; И еще; И потом* и т. п.

Классификацию эту нетрудно было бы пополнить. В частности, замечу, что «коммуникемы» могут также выражать интеллектуальную реакцию собеседника: сомнение, догадку, припоминание, подытоживание и т. п. Это значит – в их смысл могут входить такие семы, как ‘думать’, ‘знать’, ‘помнить’. Иллюстрации:

– Едемте… Как вас… Арсеньев?

– Арсений Петрович, – сдержанно ответил я, – Саламин. […]

– **Ах да, да**… Мне о вас говорила Катя. […] Вы настройщик? Да? Мне Катя тоже говорила.

– Врет ваша Катя, – холодно возразил я, – я журналист.

– **Ах, вот как**… Это интересно… Стихи пишете? (А. Бухов. Шаблонный мужчина).

– **Гм!** – сказал председатель, ковыряя палкой в трещинах фундамента. – Где же электростанция?

Он посмотрел на членов комиссии, которые в свою очередь сказали **«гм»**. Электростанции не было (И. Ильф, Е. Петров. Золотой теленок).

– …Не записывай. Рак – щекотливая тема. Запретят твою передачу.

– **Не думаю** (С. Довлатов. Компромисс).

Наиболее типичную, «ядерную» часть класса нечленимых высказываний составляют **междометия** – слова, как известно, во многих отношениях специфические. В традиционном представлении они связаны главным образом с выражением эмоций; в следующей цитате эта их черта получает несколько ироническое преломление:

…Мало ли о чем плакали в те годы! **Эх, ба, чу, фу-ты ну-ты, увы, ого** – как печально писали в свое время составители учебника вздохов родного языка Бархударов и Крючков (Т. Толстая. Лимпопо).

Но если говорить серьезно, то междометия «не служат для описания мира, как это делает знаменательная лексика, и не модифицируют тем или иным способом содержание предложения, как это делают служебные ча-

сти речи, междометия не имеют парадигм и не входят в состав предложения» (И. А. Шаронов, 2002). Однако в работах ряда исследователей отмечается, что и в данной сфере действуют довольно строгие правила.

В частности, сочетаемость междометий в одном (синтагматическом) ряду подчиняется определенным закономерностям. Мы можем сказать: «Ах! Боже мой! Вот так-так!..», но вряд ли скажем с иным порядком: «Боже мой! Ах! Вот так-так!» или «Вот так-так! Боже мой! Ах!» В соответствии с этим И. А. Шаронов выделяет четыре класса выражений, каждому из которых соответствует своя позиция в комплексе. А Л. Л. Федорова исследовала фонетическую структуру первообразных междометий. Оказалось, что «озвученные вздохи» – с исходом на *-х* (*Ах!, Ох!, Ух!, Эх!*) и на *-й* (*Ай!, Ой!, Уй!, Эй!*) – имеют свои интонационные и семантические особенности. Любопытно также, что в рамках междометий используется звуковой повтор (как знак усиления эмоции и т. п.), ср.: *О! – Ого! – Ого-го!* или *Эй! – Эгей! – Эге-гей!*

Отдельный вопрос – об установлении границ класса междометий. Дело в том, что наряду с буквальными «звуковыми жестами» (типа *Ш-ш-ш* или *Гм!*) сюда входят весьма разнообразные возгласы и оклики, а некоторые исследователи относят к междометиям вообще весь объем нечленимых высказываний, вплоть до *Это же надо!* или *Вот так история!* Поскольку нас интересует прагматический аспект междометий, то мы не будем рассматривать звукоподражательные слова; за пределами нашего внимания останутся и глагольные междометия типа *Бух!, Трах!, Хлоп!* Мы ограничимся только теми синтаксическими единицами, которые непосредственно участвуют в развитии диалога, в формировании отношений между собеседниками.

При этом несомненно: интересующий нас подкласс междометий постоянно пополняется как за счет «перебежчиков» из других частей речи (ср.: *Давай!*; *Пора!*; *Ужас!*; *Проклятие!*; *Каюк!*; *Марш!*; *Шиш!*; *Спасибо; Слушаю; Помилуйте!* и т. п.), так и за счет сочетаний полнозначных слов с неполнозначными (*К черту!*; *Нет слов!*; *Надо же!*; *По рукам!*; *Не думаю; Как скажешь* и т. п.). Новые выражения возникают буквально на наших глазах, в том числе путем заимствования, ср. примеры вроде *Абзац!*; *Не вопрос!*; *Опа-на!*; *Вау!*; *Упс!* и т. п.

Важно отдавать себе отчет в том, что единицы типа *Давай!*; *Слушаю* или *По рукам!*, выпадая из своей исходной парадигмы, глагольной или именной, практически утрачивают связь с производящим словом. В частности, когда человек снимает трубку и говорит: «Слушаю», – это не более чем условный сигнал, означающий: ‘есть контакт’. В этом смысле *Слушаю* равнозначно *Алло* или *Да*. В следующем примере сталкиваются первичное и вторичное значение словоформы *слушаю*:

– Прошу прощения, – сказал я. – Меня зовут Максим Каммерер.
– Да. **Слушаю** вас.
Голос у нее тоже был рассеянный, и сказала она неправду: **не слушала** она меня. **Не слышала** она меня и не видела. И вообще ей было явно не до меня сегодня (А. Стругацкий, Б. Стругацкий. Жук в муравейнике).

В разговорной речи класс нечленимых высказываний пополняется также за счет изолированно употребленных служебных слов. Это, конечно, окказиональная ситуация, но союзы или частицы вроде *отнюдь, потому, если бы, как когда, что ли, разве?* и т. п. легко принимают на себя роль коммуникативной единицы. Примеры (вспомним в связи с ними то, что говорилось в первой лекции о репликах-повторах):

– Ты сама-то к нему в программу собираешься переходить или как? – спросил Дима, отхлебывая кофе.
– **Или как**, - буркнула Александра. – Не знаю я ничего (Т. Устинова. Мой личный враг).

– Ну, разворчалась, – улыбнулся Юра. – Между прочим, мне Коля на тебя жаловался. …
– Это про Савельева, что ли?
– **Что ли**. Что там у вас случилось? (А. Маринина. Стилист).

Аналогичные речевые ситуации можно встретить и в других славянских языках. Приведу пример из юмористического рассказа на польском языке.

– Więc wyprodukowaliście w bieżącym kwartale aż dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt wyporników? – zapytałem.
– **Aż** – potwierdził dyrektor.
– Serdecznie gratuluję – powiedziałem (J. Osęka. Ciekawa informacja).
Перевод: '«Итак, вы произвели в текущем квартале целых две тысячи шестсот пятьдесят водоизместителей?» – «Целых», – подтвердил директор. «Поздравляю», – сказал я'.

Прагматическая ценность нечленимых высказываний наиболее очевидна в целостной структуре диалога. Следующий фрагмент из пьесы Э. Брагинского и Э. Рязанова «Родственники» полностью держится на таких репликах, и понятно, что авторы сознательно гиперболизируют этот прием, доводя его почти до абсурда:

Заплатин. Вы мне очень нравитесь, и я все время о вас думаю!
Ирина (просияла). **Правда?**
Заплатин. **Честное слово!**
Ирина. **Ой-ой-ой?..**
Заплатин. **Ай-яй-яй…**
Ирина. **Ого!**
Заплатин. **Угу!**

Ирина. **Ой ли?**
Заплатин. **Да-да!..**

Для сравнения приведу пример опять-таки из польского языка. В пьесе Славомира Мрожека «Индюк» разговаривают три крестьянина:

Chłop III. Może by zaorać co…
Chłop I. A co?
Chłop III. Ano, czy ja wiem… Choćby i pole…
Chłop I. **Iiii…**
Chłop III. Albo co…
Chłop II. **Eeee…** (S. Mrożek. Indyk).

Перевод: '«Может, чего-нибудь вспахать…» – «А что?» – «Да не знаю… Поле, что ли…» – «У-у-у…» – «Ну, еще чего-нибудь…» – «Э-э-э…»'

Но и в рамках монолога слова-предложения вполне самодостаточны, а иногда и просто незаменимы. В следующем фрагменте из повести А. Битова переживания автора развиваются примерно по такому сюжету: сомнение – досада – возмущение – квиетизм ('ничего не поделаешь!') – и все эти эмоции выражаются нечленимыми высказываниями.

«**М-да**, – думал я, стонал и крякал. – Дожил… **Эх… Да что говорить! О господи! Куда уж там. Ну да ладно!**» (Наш человек в Хиве, или Обоснованная ревность).

Еще пример – из прозы Василия Шукшина. Здесь говорящий с помощью готовых речевых средств выстраивает тактическую последовательность от «примирительного» к «успокоительно-философскому» отношению:

Трезвый Бронька, не глядя председателю в глаза, говорил сердито, невнятно:
– **Да ладно!.. Да брось ты! Ну?.. Подумаешь!..** (Миль пардон, мадам!)

Склонность к использованию готовых (в том числе нечленимых) высказываний может быть связана с типом личности говорящего. Она может служить даже диагностирующим признаком: как замечают психолингвисты, тенденция к стереотипности речи, к повторению одних и тех же фраз расценивается как проявление психических расстройств: эпилепсии, болезни Пика или Альцгеймера (А. А. Леонтьев, 2003).

Классический персонаж И. Ильфа и Е. Петрова – Эллочка Щукина из романа «Двенадцать стульев» – обладала словарем в 30 выражений. И половина из них – нечленимые реплики: *Ого!*; *Жуть*; *Мрак*; *Хо-хо!*; *Подумаешь! Знаменито; Кр-р-расота!* и т. п. Понятно, что интеллект у героини соответствующий; недаром прозвище Эллочки – *Людоедка*. А у Людмилы Петрушевской в ее смешных «Диких животных сказках» есть свой

персонаж: «косметичка комар Томка». Она на все обращения к ней реагирует одинаковой репликой: «*Да тьфу!*» Приведу контекст:

> Как известно, женская красота дело изменчивое, и красавица жаба Люба, белая и пушистая, пришла к косметичке комару Томке с такими словами:
>
> – Все цветешь, Томик.
>
> – **Да тьфу**, – боясь сглазить, уклончиво ответила комар Томка.
>
> – В отпуску, что ли, валандалась?
>
> – **Да тьфу**, – снова возразила комар Томка.
>
> – Бровки, реснички подправишь? – спросила жаба Люба, – и все остальное, как обычно. На ответственную свиданку иду.
>
> – **Да тьфу**, – согласилась комар Томка.

Здесь первое «Да тьфу!» означает ‘ты что!’ (боязнь сглаза), второе – ‘если бы’ (нереальное условие), третье – ‘запросто, как нечего делать’ (легкость исполнения). Это проявление нередкой среди нечленимых высказываний амбивалентности, способности в разных контекстах передавать разный смысл.

Для сравнения скажу, что А. Г. Широкова исследовала функционирование многозначного русского *ну* (в рамках его единой формы междометие нелегко отграничить от частицы) и выяснила, что при переводе на чешский язык ему находится около десятка эквивалентов: no, tak, ale, no tak, to ale, že, nono и др.

Собственно, вся прелесть нечленимых высказываний – в сочетании их экспрессивности и лаконизма. Представим себе ситуацию, в которой говорящий категорически не согласен с каким-то положением дел или предложенной ему перспективой. Он может обозначить свое резкое неприятие с помощью стандартной синтаксической модели, например: *Я не согласен; Этого не может быть; Мне это не нравится; Меня это не устраивает; Я не могу себе это представить* и т. п. Но, кроме названной возможности, в его распоряжении – целый букет готовых реакций, нечленимых высказываний. Все они выражают то же резкое неприятие, отказ, сопряженный с возмущением, только делают это короче и выразительнее: *Что-о-о?*; *Как бы не так!*; *Как же!*; *Черта с два!*; *Ну да!*; *Еще чего!*; *Прямо!*; *Здрасьте!*; *Сейчас!*; *Размечтался!*; *Губу раскатал!*; *Ишь чего захотел!*; *А этого не хочешь?* (в сопровождении жеста фиги и т. п.); *Разбежался!*; *Лечу и падаю!* В данных репликах репрезентативная и апеллятивная функции (по Карлу Бюлеру) подчиняются функции экспрессивной. Продемонстрирую на литературных примерах использование одного из таких выражений в русских текстах.

> – Вот так-то, – сказал Кузнецов и попросил, чтобы ему выписали чек.
>
> – Современный Цейлон, – сквозь зубы проговорил художник.
>
> – **Сейчас**, – засмеялся Кузнецов и пошел платить (Н. Давыдова. Сокровища на Земле; речь в отрывке идет о покупке антикварной вазы).

Хочешь – имеешь: получай очаг. Думаете, он успокоился? **Сейчас**. Захотел обратно на Командоры, а через месяц вернулся к упомянутому очагу… (М. Веллер. Фантазии Невского проспекта).

Валера. А я их закалю! Приучу! Буду приезжать.
Татьяна. **Сейчас.** (Л. Петрушевская. Три девушки в голубом; примечательна ремарка автора: *«Сейчас» она произносит как «щас»*).

Состав нечленимых высказываний в каждом языке обнаруживает глубинную связь с историей и культурой народа. Скажем, для белорусского языка характерны такие выражения, как *Да ліха; Да халеры; Гады ў рады; Мой ты братка!*; *Калі ласка!*; *І клямка!*; *Няма як; Праўда што; Дзіва што; Нішто сабе; Вось табе і гацаца; Пусці павалюся; Не вялікая ласка!*; *Клопат вялікі!*; *З гаручага ды ў балючае* и т. д.. – при переводе на русский язык им иногда непросто подыскать соответствия. Ф. М. Янковский, из книги которого взят этот материал, называет данные единицы фразеологизмами. Это в принципе верно, но у этих фразеологизмов особая – самодостаточная – коммуникативная роль!

Как уже говорилось, «ядро» системы синтаксически нечленимых высказываний – это междометия, наиболее безусловные единицы с эмоционально-экспрессивной функцией. Их более или менее удается отграничить от остальной массы нечленимых реплик со стандартной коммуникативной ролью. Все это – сфера, по выражению В. И. Карасика, «рутинного» общения, противопоставленного общению креативному. Но дальнюю периферию этой сферы составляет еще один подкласс: клишированные фразы, и о них тоже нельзя не сказать.

Мы уже выяснили: говорящий всегда имеет выбор – сконструировать высказывание из имеющегося под рукой языкового материала (слов, морфем и т. п.) или же воспользоваться готовой к употреблению коммуникативной единицей, хранящейся в его памяти. Еще О. Есперсен в своей «Философии грамматики», вышедшей первым изданием в 1924 году, указывал на необходимость разграничивать «свободные выражения» и «формулы». К первым, по мнению ученого, относятся «соединения языковых единиц, созданные на данный случай по определенному образцу, который возник в подсознании говорящего в результате того, что он слышал огромное количество предложений, имеющих общие черты». Формулы же даются говорящему в готовом виде; «в них никто ничего не может изменить». Некоторые исследователи вообще считают, что носитель языка не столько **производит**, сколько **воспроизводит** текст, эксплуатируя свой накопленный в предыдущей жизни речевой опыт. Непрерывный и многообразный «цитатный гул», по мнению Б. М. Гаспарова, сводит к минимуму возможности собственного творчества индивида.

В одной из первых лекций уже шла речь о том, как человек использует в своей речи цитаты и крылатые выражения. Но надо добавить: чем устойчивее коммуникативный фрагмент, хранящийся в памяти человека и извлекаемый оттуда в подходящей ситуации, тем он в принципе нечленимее. Устойчивость целого выступает как враг структуры. Напомню, что высокоустойчивые выражения – фразеологические сращения – часто характеризуются затемненной грамматической структурой. Произнося «Ничтоже сумняшеся» или «Турусы на колесах», «Видал миндал!» или «Черта с два!», мы плохо себе представляем отношения между элементами этих выражений. Конечно, мы можем предположить, что *миндал* (что бы это значило?) – объект по отношению к *видал*, а *ничтоже* (что за форма?) – обстоятельство к *сумняшеся*. Но главное, что эти выражения воспроизводятся говорящим и воспринимаются слушающим целиком; в этом смысле они практически нечленимы.

Сказанное и дает нам право рассматривать в данной главе упомянутые выше клишированные фразы, или реплики-клише. В их число входят поговорки, присловья, прибаутки, скороговорки, дразнилки и т. п. Огромное их количество впитывается носителем языка из фольклора, массовых песен, произведений школьной программы, популярных кинофильмов и телепередач. Приведу пример из пьесы Людмилы Петрушевской «Лестничная клетка».

Слава. Пошли.
Юра. Погоди, пусть ответит за это. Чем это мы не подходим?
Галя. Неужели?
Юра. Что – неужели?
Пауза.
Слава. **Неужели в самом деле все качели погорели?**

Последняя фраза «Неужели в самом деле все качели погорели?» – никак не мотивирована предыдущим контекстом, она, можно сказать, «притянута за уши», появилась исключительно по созвучию со словом *неужели*. Эта реплика – отложившиеся с детских лет в памяти строчки из стихотворения К. Чуковского «Телефон» (причем искаженные – в оригинале: «…Все сгорели карусели?»).

Другой пример. 60 лет назад композитором Б. Мокроусовым на слова поэта Е. Долматовского была создана песня «Сормовская лирическая». Она получила широкую популярность. Там есть, в частности, такие слова:

Под городом Горьким, где ясные зорьки,
В рабочем поселке подруга живет.

И с тех пор словосочетание *город Горький* неизменно «вытягивает» в сознании взрослого носителя русского языка цепочку *где ясные зорьки*. Уже выросло не одно новое поколение, уже город Горький вернулся к своему историческому названию – Нижний Новгород, а словесные ассоциации еще долго будут фигурировать в текстах:

Могу понять страдания этого нового автомобилиста, но это еще не страсти. В городе Горьком, **где ясные зорьки**, в рабочем поселке утро озарилось маленьким пожарчиком… (А. Рубинов. Откровенный разговор в середине недели).

…Смерч начался, как утверждают официальные источники, в Горьковской области, под городом Горьким, **где «ясные зорьки»**, и это особенно подозрительно, и вы знаете почему… (Е. Попов. Прекрасность жизни).

Нередко человек употребляет какое-то устойчивое выражение, даже не догадываясь о его происхождении. Цитата превращается в крылатое слово, а то со временем, возможно, – в фразеологизм или поговорку. Такова история многих русских выражений – *сражаться с ветряными мельницами; развесистая клюква; на блюдечке с голубой каемочкой; вернемся к нашим баранам; а король-то голый!* и др.

Существуют целые собрания ходячих выражений. Одним из первых таких изданий была книжка В. П. Белянина и И. А. Бутенко «Живая речь. Словарь разговорных выражений» (1994). Она включает в себя около двух тысяч клишированных фраз вроде следующих: *Ерунда на постном масле; Знал бы прикуп, жил бы в Сочи; Край непуганых идиотов; Кто, кто? – Конь в пальто; Лед тронулся, господа присяжные заседатели; Мастер-ломастер; Моряк с печки бряк; Не сыпь мне соль на рану; Судью – на мыло!; После первой не закусывают; Учись, студент; Уж замуж невтерпеж* и т. д.. В книге немало жаргонных, вульгарных и даже нецензурных фраз, но такова реальная речевая практика! Сегодня появились уже специализированные сборники – киноцитат, афоризмов, принадлежащих политикам, и т. п.



«Кто, кто?... Конь в пальто»
(шутливая открытка)

Естественно, с течением времени одни популярные клишированные фразы заменяются другими. Скажем, в ситуации, когда человека интересует происхождение шрама, синяка, какого-то физического дефекта, а собеседник не склонен говорить правду, в свое время было принято отвечать: «Была игра!»

Аверченко всегда на вопрос «Что с твоим глазом, Аркадий?» неохотно отвечал, повторяя только восклицание Расплюева из «Свадьбы Кречинского»: – **Была игра**! (Д. Левицкий. Аркадий Аверченко. Жизненный путь).

Затем текст пьесы Сухово-Кобылина подзабылся, и вместо фразы «Была игра!» в аналогичной ситуации стала использоваться реплика из кинофильма уже советской эпохи «Старики-разбойники»: «Бандитская пуля!» Примеры:

В парикмахерских у Никиты Никитича иногда спрашивали: что это у вас? «**Бандитская пуля**», – отвечал, усмехаясь, подполковник (А. Константинов. VIP).

…Ирина, непроизвольно ахнув, увидела рваный рубец, идущий через весь левый бок и исчезающий под резинкой трусов.

– Что это? […]

– **Бандитская пуля**! – пробормотал он коротко, когда она повторила вопрос, и, так и не повернувшись к ней, быстро побежал в воду (Г. Романова. Обмани меня красиво).

Зарубежная славянская фразеография тоже уделяет достаточно внимания функционированию крылатых слов, фразеологизмов, клишированных фраз. Скажем, в Польше недавно был издан словарь уже упоминавшегося мною Ежи Бральчика с примечательным названием: «Лексикон польских предложений». В нем собраны воспроизводимые мини-тексты, которые знакомы каждому поляку. Здесь мы находим и знаменитую фразу из марша польских легионов («Мазурки Домбровского»): «Jeszcze Polska nie zginęła…», и строки из детских стихов (Stary niedźwiedź mocno śpi), и цитаты из классиков – А. Мицкевича, И. Красицкого, Г. Сенкевича и т. д.. – вплоть до известного зачина песни Чеслава Немена «Dziwny jest ten świat…» (‘Странный этот мир…’). А обширный филологический и культурологический комментарий к каждой фразе превращает знакомство с этой книгой в увлекательное чтение.

Клишированные реакции отсылают к чужому языковому опыту и служат созданию некого интертекстуального универсума. Этим они интересны для лингвиста. Но они представляют интерес и для психолога, и для нейрофизиолога. Конечно, если человек «зацикливается» на репликах-клише, злоупотребляет ими, то это говорит о его невысоких интеллектуальных способностях, об этом уже шла речь. А вот еще пример. В пьесе В. Сорокина «Пельмени» действует некто «сторож автобазы, в прошлом прапорщик» Иванов. Этот персонаж изъясняется в основном с помощью таких словесных реакций: *Жадность фраера сгубила*; *Чем шире рот, тем больше хочется*; *Денежки все любят*; *Раз, два – и в дамки*; *Ни шагу назад*; *Артиллерия – бог войны*; *Отставить разговорчики*; *Мы пскопские, мы*

прорвемся! и т. п. Понятно, что подобный лексикон с достаточной полнотой характеризует личность.

По всей видимости, клишированные фразы и в целом все синтаксически нечленимые высказывания имеют свою собственную нейрофизиологическую основу. Распространенное представление о том, что речевая деятельность связана исключительно с зонами в левом полушарии головного мозга, как оказалось, не соответствует действительности. Это было установлено в ходе экспериментов с больными, которых лечили так называемым унилатеральным электрошоком. После такой процедуры у больного в течение нескольких минут нормально работает только одно полушарие (не подвергавшееся воздействию), поэтому у исследователя появляется возможность на одно и то же языковое задание последовательно получать ответы от «разных полушарий».

Выяснилось, что левое полушарие обрабатывает сообщение по частям, аналитически, приближаясь к логическим механизмам трансформационных преобразований. Оно работает с прерывными единицами разных уровней – от дифференциального признака фонемы до предложения. Правое же полушарие стремится охватить и представить информацию целиком, глобально. Поэтому оно стремится к фразеологизации и идиоматизации, оно сводит информацию к обозначению предмета или целой ситуации. (Судя по всему, наши клишированные фразы – как раз продукт деятельности правого полушария.) Эти наблюдения позволили ученым говорить о существовании в сознании человека двух грамматик: «структурной» и «тема-рематической», локализованных в разных отделах головного мозга (Л. В. Сахарный и др.). Конечно, в нормальном случае все разделы мозга работают координированно, слаженно, и образующееся в результате высказывание несет на себе следы деятельности и того, и другого полушария.

Выбор говорящего между «свободными выражениями» и нечленимыми высказываниями в значительной мере обусловлен конкуренцией языковых функций и спецификой условий общения. «Кому сказать?», «Что сказать?», «Как сказать?», наконец, «Зачем сказать?» – вот те вопросы, которые лежат в глубине этой деятельности. И здесь будет уместно привести слова норвежского лингвиста Р. М. Блакара (R. M. Blakar, 1987): «Как раз **в этих выборах**, которые и отправитель, и получатель **обязаны** осуществить […], мы видим основание для утверждения, что “использование языка предполагает осуществление власти”». Эта власть, по мнению ученого, реализуется через выбор слов и выражений, через создание новых слов и выражений, через выбор грамматической формы и т. д.

А что значит – язык как инструмент в борьбе за власть? Здесь имеется в виду не занятие каких-то государственных постов или создание политических партий, а широкий спектр социально-коммуникативных задач. Воздействовать на поведение другого человека, доминировать в диалоге, навязать свою речевую тактику, добиться своей цели – вот, собственно, прагматический подтекст этой борьбы. И такие средства, как фразеологизованные конструкции, нечленимые высказывания и реплики-клише по-своему участвуют в реализации этой стратегии; они подразумевает отсылку к общественному мнению, к опыту народной мудрости.

К примеру, даже если собеседник осознает нарочитость похвал или комплиментов в свой адрес, использование их в качестве прагматического приема все равно может быть результативным, как в следующем эпизоде из романа М. Булгакова «Белая гвардия»:

– А ты, Леночка, ей-богу, замечательно выглядишь сегодня. И капот тебе идет, клянусь честью, – заискивающе говорил Мышлаевский, бросая легкие, быстрые взоры в зеркальные недра буфета. – Карась, глянь, какой капот. Совершенно зеленый. Нет, **до чего хороша**. [...]

– Это электрик, – пояснила Елена, – да ты, Витенька, говори сразу – в чем дело?

– Видишь ли, Лена ясная, после вчерашней истории мигрень у меня может сделаться, а с мигренью воевать невозможно...

– Ладно, в буфете.

Это «говори сразу» показывает, что Елена быстро раскусила грубоватую лесть и пытается докопаться до сути (а Мышлаевскому просто хочется выпить).

Прагматика вообще интересна не «лобовыми» атаками, а скрытыми, завуалированными интенциями. Как уже отмечалось, непрямые речевые акты встречаются в общении чаще, чем прямые (хотя тут надо делать поправку на национальную специфику: есть культуры, особо склонные к «непрямому» общению).

И добавлю: стремление к власти, к доминации, к превосходству – не единственный «речевой инстинкт» человека. Не менее значим извечный и глубинный настрой **на игру**. Голландский ученый Йохан Хейзинга (J. Huizinga, 1992) по аналогии с термином homo sapiens «человек разумный» придумал определение homo ludens – «человек играющий». Кроме деятельности, нацеленной на достижение практического эффекта, человек постоянно совершает какие-то поступки, без которых, казалось бы, можно было обойтись. Но в ходе этих действий человек обучается (тренируется), он получает удовольствие, он налаживает определенные отношения со своим окружением и т. д. Это – игра. И языковая игра, игра со словами – очень важный и наглядный вид такой деятельности. Она многооб-

разна: сюда входят анекдоты и шутки, софизмы и парадоксы, каламбуры и обычное речевое балагурство.

Использование нечленимых высказываний, как мы могли видеть, также зачастую сопровождается «игровым эффектом». Сочетание стереотипности и творческого выбора, экспрессии и интертекстуальности – это их выгодные стороны. Используя готовые коммуникативные средства, говорящий, как правило, хорошо представляет себе, какого результата он может с их помощью достичь.

И вот теперь, в конце этого небольшого курса, я хотел бы вернуться к его началу и затронуть один важный теоретический вопрос. Говоря о структуре семиотической ситуации, мы отмечали наличие у знака разных видов отношений к иным сущностям: к обозначаемым предметам, к понятиям, к другим знакам, наконец, к человеку. Эти отношения и составляют разные аспекты значения. Конечно, под отношением в таком случае понимаются не эмоции, не чувства («Как ты относишься к Маше?» – «Хорошо»), а связь, соотнесенность в максимально общем смысле.

Однако обратим внимание: анализируя прагматический аспект значения, я чаще говорил не об отношении знака к человеку, а **об отношении человека к знаку**! Нет ли здесь подмены понятий?

Я думаю, что нет. Просто отношение знака к разным сущностям не остается неизменным, оно наполняется разным содержанием в зависимости от того, о какой сущности идет речь. В частности, как знак относится к предмету? Он его отражает (представляет), и все. Это однонаправленная связь. Но уже связь знака с понятием и связь знака с другими знаками не остается такой однонаправленной: отношение рождает встречное отношение. Тем более это очевидно, когда мы говорим о прагматическом аспекте: отношение знака к говорящему автоматически подразумевает многообразное отношение говорящего к знаку, реализующееся в особенностях употребления последнего. Поэтому, рассуждая о прагматическом аспекте значения, приходится постоянно иметь в виду динамику взаимодействия участников коммуникативной деятельности – таких как знак и человек.

ЛИТЕРАТУРА

Основная

Берн, Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры / Э. Берн. М., 1988.

Богданов, В. В. Речевое общение. Прагматические и семантические аспекты / В. В. Богданов. Л., 1990.

Булыгина, Т. В. Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики) / Т. В. Булыгина, А. Д. Шмелев. М., 1997.

Вежбицкая, А. Семантические универсалии в описании языков / А. Вежбицкая. М., 2000.

Вежбицкая, А. Язык. Культура. Познание / А. Вежбицкая. М., 1996.

Верещагин, Е. М. Язык и культура. Три лингвострановедческие концепции: лексического фона, рече-поведенческих тактик и сапиентемы / Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров. М., 2005.

Вольф, Е. М. Функциональная семантика оценки / Е. М. Вольф. М., 1985.

Дейк, Т. А. ван. Язык, познание, коммуникация / Т. А. ван Дейк. М., 1989.

Дементьев, В. Непрямая коммуникация / В. В. Дементьев. М., 2006.

Есперсен, О. Философия грамматики / О. Есперсен. М., 1958.

Карасик, В. И. Язык социального статуса / В. И. Карасик. М., 2002.

Клаус, Г. Сила слова. Гносеологический и прагматический анализ языка / Г. Клаус. М., 1967.

Ковалев, В. П. Языковые выразительные средства русской художественной прозы / В. П. Ковалев. Киев, 1981.

Крижанская, Ю. С. Грамматика общения / Ю. С. Крижанская, В. П. Третьяков. Л., 1990.

Логический анализ языка. Образ человека в культуре и языке / отв. ред. Н. Д. Арутюнова, И. Б. Левонтина. М., 1999.

Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 16: Лингвистическая прагматика / общ. ред. Е. В. Падучевой. М., 1985.

Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 17: Теория речевых актов / общ. ред. Б. Ю. Городецкого. М., 1986.

Прямая и непрямая коммуникация: сб. научн. ст. / отв. ред. В. В. Дементьев. Саратов, 2003.

Ремчукова, Е. Н. Креативный потенциал русской грамматики / Е. Н. Ремчукова. М., 2005.

Степанов, Ю. С. В трехмерном пространстве языка. Семиотические проблемы лингвистики, философии, искусства / Ю. С. Степанов. М., 1985.

Шелякин, М. А. Язык и человек (Труды по русской и славянской филологии. Лингвистика. Новая серия. VII.) / М. А. Шелякин. Тарту, 2002.

Язык и моделирование социального взаимодействия: сб. ст. / общ. ред. В. В. Петрова. М., 1987.

Якобсон, Р. Лингвистика и поэтика / Р. Якобсон // Структурализм: «за» и «против» / под ред. Е. Я. Басина и М. Я. Полякова. М., 1975. С. 193–230.

Bogusławski, A. Semantyka, pragmatyka. Leksykografa głos demarkacyjny / A. Bogusławski. Warszawa, 2008.

Cummings, L. Pragmatics. A Multidisciplinary Perspective / L. Cummings. Edinburgh, 2005.

Ernst, P. Pragmalinguistik. Grundlagen. Anwendungen. Probleme / P. Ernst. Berlin; New York, 2002.

Henne, H. Sprachpragmatik. Nachschrift einer Vorlesung / H. Henne. Tübingen, 1975.

Pragmatik. Theorie und Praxis / hrsg. von W. Frier. Amsterdam, 1981 (Amsterdamer Beiträge zur Neueren Germanistik. Bd. 13).

Дополнительная

К лекции 1

Вепрева, И. Т. Языковая рефлексия в постсоветскую эпоху / И. Т. Вепрева. Екатеринбург, 2002.

Гак, В. Г. Язык как форма самовыражения народа / В. Г. Гак // Язык как средство трансляции культуры / отв. ред. М. Б. Ешич. М., 2000. С. 54–68.

Грайс, Г. П. Логика и речевое общение / Г. П. Грайс // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 16: Лингвистическая прагматика. М., 1985. С. 217–237.

Моррис, Ч. У. Основания теории знаков / Ч. У. Моррис // Семиотика / сост. и ред. Ю. С. Степанов. М., 1983. С. 37–89.

Остин, Дж. Л. Слово как действие / Дж. Л. Остин // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 17: Теория речевых актов. М., 1986. С. 22–129.

Радбиль, Т. Б. Прагматические аномалии в среде языковых аномалий русской речи / Т. Б. Ратбиль // Русский язык в научном освещении. 2006. № 2. С. 56–79.

Ратмайр, Р. Прагматика извинения. Сравнительное исследование на материале русского языка и русской культуры / Р. Ратмайр. М., 2003.

Серль, Дж. Р. Что такое речевой акт? / Дж. Р. Серль // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 17: Теория речевых актов. М., 1986. С. 151–169.

Стернин, И. А. Эффективное речевое воздействие / И. А. Стернин // Теоретические и прикладные проблемы языкознания. Избранные работы. Воронеж, 2008. С. 253–293.

Супрун, А. Е. Проблема системности лексики / А. Е. Супрун // Методы изучения лексики / под ред. А. Е. Супруна. Минск, 1975. С. 5–22.

Якобсон, Р. Поэзия грамматики и грамматика поэзии / Р. Якобсон // Семиотика / сост. и ред. Ю. С. Степанов. М., 1983. С. 462–482.

К лекции 2

Бердяев, Н. О рабстве и свободе человека / Н. Бердяев. Paris, 1939.

Вальтер, Х. Большой словарь русских прозвищ / Х. Вальтер, В. М. Мокиенко. М., 2007.

Коммуникативное поведение. Вып. 17: Вежливость как коммуникативная категория / науч. ред. И. А. Стернин. Воронеж, 2003.

Кронгауз, М. А. Русский речевой этикет на рубеже веков / М. А. Кронгауз // Russian Linguistics. Vol. 28. 2004. С. 163–187.

Ономастика и норма / отв. ред. Л. П. Калакуцкая. М., 1976.

Отин, Е. Словарь коннотативных собственных имен / Е. Отин. Москва; Донецк, 2006.

Ратникова, И. Э. Имя собственное: от культурной семантики к языковой / И. Э. Ратникова. Минск, 2003.

Суперанская, А. В. Имя через века и страны / А. В. Суперанская. М., 1990.

Супрун, А. Е. О прагматической парадигме русского личного имени собственного / А. Е. Супрун // Русистика – Russistik. 1993. № 2. С. 43–53.

Суслова, А. В. О русских именах / А. В. Суслова, А. В. Суперанская. 3-е изд. Л., 1991.

Унбегаун, Б. О. Русские фамилии / Б. О. Унбегаун. М., 1989.

Формановская, Н. И. Речевой этикет и культура общения / Н. И. Формановская. М., 1989.

Щетинин, Л. М. Русские имена / Л. М. Щетинин. 2-е изд., испр. Ростов н/Д, 1975.

Brown, P. Politeness: Some Universals in Language Usage / P. Brown, S. Levinson. Cambridge, 1987.

Handke, K. Polski język familijny. Opis zjawiska / K. Handke. Warszawa, 1995.

К лекции 3

Бенвенист, Э. Природа местоимений / Э. Бенвенист // Общая лингвистика / Э. Бенвенист. М., 1974. С. 285–291.

Блажев, Б. Различия в употреблении некоторых местоимений в русском и болгарском языках / Б. Блажев // Болгарская русистика. 1980. № 1. С. 20–30.

Мартынов, В. В. Категории языка. Семиологический аспект / В. В. Мартынов. М., 1982.

Моделирование языковой деятельности в интеллектуальных системах / под ред. А. Е. Кибрика, А. С. Нариньяни. М., 1987.

Норман, Б. Ю. Русское местоимение *мы*: внутренняя драматургия / Б. Ю. Норман // Russian Linguistics. Vol. 26. 2002. С. 217–234.

Писарек, Л. Местоименная оппозиция *ty – wy* в польском языке (лингвопрагматический аспект) / Л. Писарек // Славистика. Синхрония и диахрония: сб. ст. к 70-летию И. С. Улуханова / под общ. ред. В. Б. Крысько. М., 2006. С. 42–51.

Русские местоимения: семантика и грамматика / отв. ред. А. Б. Пеньковский. Владимир, 1989.

Селиверстова, О. Н. Местоимения в языке и речи / О. Н. Селиверстова. М., 1988.

Химик, В. В. Категория субъективности и ее выражение в русском языке / В. В. Химик. Л., 1990.

Шведова, Н. Ю. Местоимение и смысл. Класс русских местоимений и открываемые ими смысловые пространства / Н. Ю. Шведова. М., 1998.

К лекции 4

Адамец, П. Функции указательных местоимений в чешском языке в сравнении с русским / П. Адамец // Сопоставительное изучение русского языка с чешским и другими славянскими языками / под ред. А. Г. Широковой, Вл. Грабье. М., 1983. С. 173–190.

Гард, П. Структура русского местоимения / П. Гард // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 15: Современная зарубежная русистика. М., 1985. С. 215–226.

Засорина, Л. Н. О местоименных предикатах в русском языке / Л. Н. Засорина // Вопросы общего языкознания / ред. Ю. С. Маслов, А. В. Федоров. Л., 1965. С. 26–40.

Категория посессивности в славянских и балканских языках / отв. ред. Вяч. Вс. Иванов. М., 1989.

Нёргор-Сёренсен, Й. Референциальная функция русских местоимений (в сопоставлении с местоимениями некоторых других славянских языков) / Й. Нёргор-Сёренсен // Вопросы языкознания. 2002. № 2. С. 3–15.

Норман, Б. О притяжательных местоимениях в славянских языках / Б. Норман // Slavia Orientalis. XLVIII. 1999. № 4. С. 599–616.

Падучева, Е. В. О семантике синтаксиса. Материалы к трансформационной грамматике русского языка / Е. В. Падучева. М., 1974.

Розенталь, Д. Э. Справочник по правописанию и литературной правке / Д. Э. Розенталь. 2-е изд. М., 2000.

Шмелев, А. Референциальные механизмы русского языка / А. Шмелев. Тампере, 1996.

Encyklopedia Językoznawstwa Ogólnego / pod red. K. Polańskiego. Wrocław; Warszawa; Kraków, 1995.

К лекции 5

Васильева, В. Ф. Семантическая характерология в контексте сопоставительного изучения языков (на материале чешского и русского языков) / В. Ф. Васильева // Вестник Московского университета. Сер. 9. Филология. 2003. № 2. С. 7–17.

Всеволодова, М. В. Грамматика как средство отображения национальной картины мира / М. В. Всеволодова // Frazeologia a językowe obrazy świata przełomu wieków / red. naukowa W. Chlebda. Opole, 2007. С. 357–364.

Маркарян, Р. А. Типы семантического противодействия в сфере формообразования и словообразования / Р. А. Маркарян. Ереван, 1970.

Мельчук, И. А. Курс общей морфологии. Т. 1: Введение. Ч. 1: Слово / И. А. Мельчук. М.; Вена, 1997.

Милославский, И. Г. Какая грамматика нужна для обозначения действительности средствами русского языка? / И. Г. Милославский // С любовью к слову. Festschrift in Honour of Professor Arto Mustajoki on the Occasion of his 60th Birthday / ed.: J. Lindstedt [et al.]. Helsinki, 2008. С. 207–225.

Пешковский, А. М. Грамматика в новой школе / А. М. Пешковский // Избранные труды. М., 1959. С. 112–130.

Талми, Л. Отношение грамматики к познанию / Л. Талми // Вестник Московского университета. Сер. 9. Филология. 1999. № 1. С. 91–115.

Уорф, Б. Л. Грамматические категории / Б. Л. Уорф // Принципы типологического анализа языков различного строя / отв. ред. Б. А. Успенский. М., 1972. С. 44–60.

Шендельс, Е. И. Совместимость/несовместимость грамматических и лексических значений / Е. И. Шендельс // Вопросы языкознания. 1982. № 4. С. 78–82.

Bally, Ch. Le langage et la vie / Ch. Bally. Paris, 1926.

Jakobson, R. The gender pattern in Russian / R. Jakobson // Selected Writings. Vol. 2: Word and Language. The Hague; Paris. 1971. P. 184–186.

Langacker, R. W. Grammar and Conceptualization / R. W. Langacker. Berlin; New York, 2000.

К лекции 6

Гин, Я. И. Проблемы поэтики грамматических категорий / Я. И. Гин. СПб., 1996.

Зализняк, А. А. Русское именное словоизменение / А. А. Зализняк. М., 1967.

Зубова, Л. В. Современная русская поэзия в контексте истории языка / Л. В. Зубова. М., 2000.

Милославский, И. Г. Морфологические категории современного русского языка / И. Г. Милославский. М., 1981.

Норман, Б. Лингвопсихологические аспекты грамматической категории рода / Б. Норман // Russian Linguistics. Vol. 30. 2006. С. 153–174.

Шульга, М. В. Развитие морфологической системы имени в русском языке / М. В. Шульга. М., 2003.

Corbett, G. G. Gender in Russian: an account of gender specification and its relationship to declension / G. G. Corbett // Russian Linguistics. Vol. 6. 1982. P. 197–232.

Szober, St. Gramatyka języka polskiego. Wydanie dwunaste / St. Szober. Warszawa, 1962.

К лекции 7

Бенвенист, Э. Структура отношений лица в глаголе / Э. Бенвенист // Общая лингвистика / Э. Бенвенист. М., 1974. С. 259–284.

Бирюлин, Л. Семантика и прагматика русского императива / Л. Бирюлин. Helsinki, 1994. (Slavica Helsingiensia 13).

Бондарко, А. В. Принципы функциональной грамматики и вопросы аспектологии / А. В. Бондарко. Л., 1983.

Бондарко, А.В. Русский глагол / А. В. Бондарко, Л. Л. Буланин. Л., 1967.

Виноградов, В. В. Стиль «Пиковой дамы» / В. В. Виноградов // О языке художественной прозы. Избранные труды. М., 1980. С. 176–239.

Золотова, Г. А. Категории времени и вида с точки зрения текста / Г. А. Золотова // Вопросы языкознания. 2002. № 3. С. 8–29.

Пупынин, Ю. А. Функциональные аспекты грамматики русского языка: взаимосвязи грамматических категорий / Ю. А. Пупынин. Л., 1990.

Храковский, В. С. Семантика и типология императива. Русский императив / В. С. Храковский, А. П. Володин. Л., 1986.

Modalität und Modus. Allgemeine Fragen und Realisierung im Slavischen // hrsg. von H. Jachnow, N. Mečkovskaja, B. Norman [et al.]. Wiesbaden, 1994.

Personalität und Person // hrsg. von H. Jachnow, N. Mečkovskaja, B. Norman [et al.]. Wiesbaden, 1999.

К лекции 8

Барт, Р. Эффект реальности / Р. Барт // Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1989. С. 392–400.

Бэбби, Л. Глубинная структура прилагательных и причастий в русском языке / Л. Бэбби // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 15: Современная зарубежная русистика. М., 1985. С. 156–170.

Васильева, В. Ф. Некоторые наблюдения над сочетаемостными особенностями качественных и относительных прилагательных в русском и чешском языках / В. Ф. Васильева // Сопоставительное изучение русского языка с чешским и другими славянскими языками / под ред. А. Г. Широковой и Вл. Грабье. М., 1983. С. 235 –251.

Маслов, Ю. С. Грамматика болгарского языка / Ю. С. Маслов. М., 1981.

Найдич, Л. След на песке. Очерки о русском языковом узусе / Л. Найдич. СПб., 1995.

Пауль, Г. Принципы истории языка / Г. Пауль. М., 1960.

Шмелева, Т. В. Притяжательные прилагательные: почему не сбывается виноградовский прогноз? / Т. В. Шмелева // Инструментарий русистики: корпусные подходы / ред. А. Мустайоки [и др.]. Helsinki, 2008. С. 358–371.

Bralczyk, J. Język na sprzedaż / J. Bralczyk. Gdańsk, 2004.

Hannapel, H., Pragmatik der Wertbegriffe / H. Hannapel, H. Melenk // Pragmatik. Theorie und Praxis / hrsg. von W. Frier. Amsterdam. 1981. S. 209–236.

Jodłowski, St. Podstawy polskiej składni / St. Jodłowski. Warszawa, 1976.

Quantität und Graduierung als kognitiv-semantische Kategorien / hrsg. von H. Jachnow, B. Norman, A. Suprun. Wiesbaden, 2001.

К лекции 9

Виноградов, В. В. Основные типы лексических значений слова / В. В. Виноградов // Лексикология и лексикография. Избранные труды. М., 1977. С. 162–189.

Гладров, В. Прагматическая структура высказывания в русском языке / В. Гладров // Русское слово в мировой культуре: X Конгресс Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы, Санкт-Петербург, 30 июня – 5 июля 2003 г. СПб., 2003. С. 243–248.

Димитрова, Ст. Исключения в русском языке / Ст. Димитрова. Columbus, Ohio. 1994.

Золотова, Г. А. Коммуникативные аспекты синтаксиса / Г. А. Золотова. М., 1982.

Копотев, М. В. Принципы синтаксической идиоматизации / М. В. Копотев. Хельсинки, 2008.

Мразек, Р. Сравнительный синтаксис славянских литературных языков. Исходные структуры простого предложения / Р. Мразек. Brno, 1990.

Норман, Б. Девербативы в сочетании с предлогом do как черта польского синтаксиса / Б. Норман // Актуальныя праблемы паланістыкі 2006. Мінск, 2006. С. 153–166.

Норман, Б. Участие лексического компонента в синтаксических моделях / Б. Норман // Зборник Матице српске за славистику. Бр. 71–72. Нови Сад, 2007. С. 209–222.

Норман, Б. Экспрессивно-оценочная лексика в непредикатной позиции / Б. Норман // Јужнословенски филолог. LXIII. Београд, 2007. С. 67–81.

Панов, М. В. Позиционная морфология русского языка / М. В. Панов. М., 1999.

Федосюк, М. Ю. Зачем официально-деловому стилю нужны отглагольные и отадъективные существительные? / М. Ю. Федосюк // Проблемы речевой коммуникации: межвузовский сб. науч. тр., посвящ. 80-летию Ольги Борисовны Сиротининой / под ред. М. А. Кормилицыной. Саратов, 2003. С. 217–226.

Щерба, Л. В. О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании / Л. В. Щерба // Языковая система и речевая деятельность / Л. В. Щерба. Л., 1974. С. 24–39.

Fillmore Ch. J. The pragmatics of constructions / Ch. J. Fillmore // Social Interaction, Social Context, and Language. Essays in Honor of Susan Ervin-Tripp / ed. by D. I. Slobin [et al.] Mahwah; New Jersey, 1996. P. 53–69.

Koneczna, H. Funkcje zdań jednoczłonowych i dwuczłonowych w języku polskim / H. Koneczna // Problemy składni polskiej. Studia, dyskusje, polemiki z lat 1945–1970 / red. A. M. Lewicki. Kraków, 1971. S. 60–92.

Wójcik, T. Zagadnienia teoretyczne polsko-rosyjskiej gramatyki kontrastywnej / T. Wójcik. Kielce, 1977.

К лекции 10

Белянин, В. П. Живая речь. Словарь разговорных выражений / В. П. Белянин, И. А. Бутенко. М., 1994.

Блакар, Р. М. Язык как инструмент социальной власти / Р. М. Блакар // Язык и моделирование социального взаимодействия / общ. ред. В. В. Петрова. М., 1987. С. 88 – 125.

Волков, В. Прагматически ориентированные части речи и идеография / В. Волков, М. Миклуш // Русистика – Russistik. 1996. № 1 – 2. С. 81 – 88.

Гаспаров, Б. М. Язык, память, образ. Лингвистика языкового существования / Б. М. Гаспаров. М., 1996.

Карасик, В. И. Рутинное и креативное общение: функции, типы, способы / В. И. Карасик // Язык. Культура. Общение: сб. науч. тр. в честь юбилея С. Г. Тер-Минасовой / отв. ред. Г. Г. Молчанова. М., 2008. С. 482 – 492.

Леонтьев, А. А. Основы психолингвистики / А. А. Леонтьев. М.; СПб., 2003.

Меликян, В. Ю. Словарь: эмоционально-экспрессивные обороты живой речи / В. Ю. Меликян. М., 2001.

Сахарный, Л. В. Введение в психолингвистику: курс лекций / Л. В. Сахарный. Л., 1989.

Федорова, Л. Л. Эмоции в грамматике / Л. Л. Федорова // Эмоции в языке и речи / под ред. И. А. Шаронова. М., 2005. С. 178 – 199.

Хейзинга, Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня / Й. Хейзинга. М., 1992.

Шаронов, И. А. Толкование эмоциональных междометий как знаков восприятия / И. А. Шаронов // Russian Linguistics. Vol. 26. 2002. № 2. С. 235 – 254.

Янкоўскі, Ф. М. Беларускія прыказкі, прымаўкі, фразеалагізмы / Ф. М. Янкоўскі. 3-е выд. Мінск, 1992.

Bralczyk, J. Leksykon zdań polskich / J. Bralczyk. Warszawa, 2004.

СОДЕРЖАНИЕ

Учебное издание

Норман Борис Юстинович

**ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ
ПРАГМАТИКА**

**(на материале русского
и других славянских языков)**

Курс лекций

В авторской редакции

Художник обложки *Т. Ю. Таран*
Технический редактор *Г. М. Романчук*
Корректор *С. П. Гринкевич*
Компьютерная верстка *Т. А. Малько, Т. Я. Холод*

Ответственный за выпуск *А. Г. Купцова*

Подписано в печать 30.12.2009. Формат 60×84/16. Бумага офсетная.
Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл. печ. л. 10,7. Уч.-изд. л. 10,87.
Тираж 250 экз. Зак.

Белорусский государственный университет.
ЛИ № 02330/0494425 от 08.04.2009.
220030, Минск, проспект Независимости, 4.

Отпечатано с оригинала-макета заказчика.
Республиканское унитарное предприятие
«Издательский центр Белорусского государственного университета».
ЛП № 02330/0494178 от 03.04.2009.
220030, Минск, ул. Красноармейская, 6.